

Анатолий Сорокин

Грешные люди

Провинциальные хроники. Книга первая

Анатолий Сорокин

**Грешные люди.
Провинциальные
хроники. Книга первая**

«Издательские решения»

Сорокин А. М.

Грешные люди. Провинциальные хроники. Книга первая /
А. М. Сорокин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832719-3

Земля и Отечество! Судьба и Предназначение! Что было и ради чего!.. Был Сталин, Хрущев, целина, деревни и деревеньки, навечно лишенные цивилизации. Деревеньки, которых уже нет. А что есть, люди, товарищи, господа? Что есть, в печенку нам, неприкаянным, и пониже поясницы? Жить-то ведь хочется не в будущем, сейчас хочется жить..... Трудно говорить честно и прямо Отечеством с не остывающей болью, хватающей стенокардом, но я все же попробую, насколько получится... А. Сорокин

ISBN 978-5-44-832719-3

© Сорокин А. М.
© Издательские решения

Содержание

Часть первая	15
Глава первая	15
Глава вторая	26
Глава третья	37
Глава четвертая	48
Глава пятая	51
Глава шестая	61
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Грешные люди

Провинциальные хроники. Книга первая

Анатолий Михайлович Сорокин

*наедине с отечеством
или в минуты раздумий*

© Анатолий Михайлович Сорокин, 2016

ISBN 978-5-4483-2719-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Земля и Отечество! Судьба и Предназначение! Прошное и Настоящее! Что было и ради чего мучило и терзало!.. Деревни и деревеньки, навечно лишённые нормальной цивилизации. Деревеньки, которых уже нет, и не будет!

Вечного нет – все из мгновений.

А что есть, люди, товарищи, господа? И что шарик-земелька для нас... оказавший таким не великим и настолько беспомощным?

Что есть, в печенку нам всем, неприкаянным и неухоженным, и пониже поясницы? Что все же свято и дорого сердцу, хотя бы для каждого в собственном разуме? Жить-то ведь хочется не в будущем, в будущем нас, сегодняшних, не будет, сейчас хочется жить, но не получается. Вернее, у большинства не получается, потому что это не нравится меньшинству. Паскудному и бесстыдно-наглому меньшинству. Животному меньшинству с челюстями ненасытного хищника, получившему возможность – не право, только временную возможность – управлять неудачливой массовой живого.

Жить в разуме изуродованном и оскотиненном изрядно, но все же собственном, не взятом напрокат, которого желаю внукам и правнукам, поскольку, убежден, без чести и совести жить омерзительно-тошно.

Оказаться наедине с Отечеством, которому только и остается высказать свою не только не остывающую протестную боль, но и расширяющуюся до стенокарда...

Цивилизация, урбанизация, капитализация, социализация! Ация, изация, лизация... Десятки, сотни мегаполисов обустройства, втягивают в себя рабочую силу державы, пожирают ресурсы, закатывают в бетон и асфальт обычную землю, питающуюся мужицкими соками, плодят бандитов и казнокрадов, похожих на червей, сжимая пространство и сферу обитания нормального мирянина, упрямо живущего испокон по уши в деревенском говне и грязище.

Упрямо живущего, слушающего странным рассудком, к чему глухих уже больше и больше современных «творцов-созидателей» и нового общества и новой страны.

Или, на самом деле, благостно вечного не было, нет, и не будет, из навоза российского вышедшие в навоз и уйдем?

А что тогда будет, люди? Злоба и ненависть прошлого к настоящему, чем упиваются многие, предвкушая новый Содом? Проклятие последнего божьего помазанника, зная судьбу, добровольно взошедшего на плаху, но не спасшего наши заблудшие души?

И чем оно лучше, до невозможности политизированное неудачниками судьбы, поспевающими в поезд ушедшего, куда хочется впрыгнуть, даже рискуя собственным черепком?

Чем оно лучше, люди, измочаленное и перелицованное на потребу дня, изнасилованное секстантами разных мастей, наклонностей и верований?..

На склоне собственных лет с ужасающей обескураженностью начинаю осознавать, что никакой святости, провозглашаемой три четверти века, начиная с осени 1917 года, нашими

отечественными властолюбцами, а раньше другими начетниками от «народной идеи», нет, и не было. Как и самой «народной идеи», за которую выдавали идейный воспарившийся в мозгах мистицизм. Над огромной страной витали странные миражи, обладающие мистическими свойствами воздействия на подкорку и вводившие в транс, эйфорию благостного доверия российского трудника, с усердием старательного школьника наполнявшего себя догмами и сладостными надеждами о всеобщем равенстве (никогда особенно не уточняя в каком) и неизбежности мировой победы коммунизма.

Ведь не год и не два – веками витали! Еще императрица Екатерина...

Да что там Екатерина, ИДЕИ просвещения привнесены с русскую жизнь Петром, царем-реформатором, и его сподвижниками, среди которых проповедник и просветитель Феофан Прокопович, обличитель-сатирик Антиох Кантемир, открыватель старины, историкограф Василий Татищев, единственный из сонма сочинителей говоривший о русском и русскости с достойным почитанием и знанием сути, доступной в то время. Не щадил благодетель мужицкое стадо и мужицкий планктон, выкашивал под статью Ивану Грозному, но и баре пощады не знали, головенки-то в длинных папах втягивали поглубже, заслышав отрезвляющий глас.

А не будь-ка его, положи руку на сердце, что-то бы вызрело в глубине наших руд?

Во время царствования дочери Петра Елизаветы просвещенный абсолютизм подхватил и понес словно факел, ее фаворит Иван Шувалов, содействовавший основанию Московского университета и Императорской академии художеств, в которых билась и расцветала интеллектуальная жизнь азиатской страны последней четверти XVIII века и появление такого российского феномена времен, как архангельский мужик Михаил Ломоносов.

Достойно и уважительно понес, что бы кто пришел пару веков спустя и потушил,

А досточтимые времена Екатерины Великой, обычно считающейся образцом просвещенного деспотизма, но поддерживающей дружескую переписку с Вольтером и Дидро, основавшей Эрмитаж, Вольное экономическое общество, Российскую национальную библиотеку!

Так уж и бездарными были, в отличие от нынешних новоделов, занимающихся футболом и баскетболом, теннисными кортами и боулинг-центрами, напрочь позабыв о русском языке, смешавшемся с уличной феней, на котором уже заговорили президенты.

Оказаться в России за честь считали все просвещенные европейцы.

Так победы чего и над чем?

Заблудшего разума, возомнившего о всеобщей справедливости и возможной победе над вселенской деспотией и правящими живодернями одного ошалевшего класса над новым и еще более свихнувшимся от собственных миражей?

Мирской мудрости, веками стоявшей на общинном мировосприятии и хоть какой-то совестливости, над вековой житейской практичностью и треклятом жидовском накопительстве, называемым продвинутым капитализмом?

Некой предрешенной божественности над мракобесием и нарастающим противостоянием одной веры над другой?

Что это было – 70 лет очередного вселенского эксперимента одной горстки достаточно властных и жестоких людей над другой, лукаво называвшейся русским народом?

Настолько глупо и бессмысленно? Бездарно и безнадежно?

А если все же не так, вовсе не просто и желанным миром далеко не закончилось, что не могут не слышать только пораженные новым вирусом возможного и доступного?

Почему вселенская идея о массовой справедливости (условной, хотя бы, применительно к отдельно взятой стране и ее нравственным заблуждениям, сказывающимся на здоровье) живет живой и никогда не угасает?

И Сталин живее живых, и с Лениным не посильно управиться, хоть сто раз перезахорони...

Вот вам и деспоты, вровень с Петром!

Да вровень, вровень, не надо морщиться, смотря каким счетом считать и кому!

Почему люди, как не мордуй и не насилуй своими идеями, всегда знают, кто у них враг и кровопийца. Кто жулик, а кто настоящий бандит. Исправить не может, но знает уверенно и без сомнения! Кто анархист с национальным душком, как бы его не подкрашивать и не перелицовывать, в гости лишь заглянул мимоходом из Забугорья, а кто, жесток, излишне суров, невыносимо несправедлив, мать его в душу, а все равно Батюшка и ХОЗЯИН!

ХОЗЯИН – понимаете, люди-товарищи, граждане-господа, что в России на генном уровне было вечным и будет! ХОЗЯИН, с которым бессмысленно спорить, если он все-таки появляется и настоящий, не кукла, набитая отрепьем вместо мозгов, Как всегда чуток пришибленный и с заскоками, но живущий державой и ее безответными насельниками, от которого всегда пользы больше, чем вони и выпендрежа.

Не помните таких? Подзабыли вчерашнее и позавчерашнее? Привыкли за века, притерлись, исходя из личных пристрастий и вышестоящего самодурства?

Возможно, да как-то не очень...

А толстомясым, не способным усмирить свою ненасытность, опять не по нраву, не туда санки пихнул по-дурости деревенской? И в России по-вашему никогда не бывать, в смысле твердой руки и хозяина, временно лишь, от излишков привнесенных туманов?

Да БЫВАТЬ и БЫВАЛО... при Василии Блаженном.

Бывало и будет, до конца света еще далеко!

Почему народ знает, а власти и «продвинутая» интеллигенция, слегка подмороженная в «оттепельные» периоды кухонных посиделок, но уж никак не на баррикадах, как поступали их деды, впритык не хотят замечать, покровительствуя ненасытному меньшинству, рождая ненависть и очередное кровопускание?

И почему тогда не справедливо то, что случилось в 1917 и снова не может быть справедливым, как бы ни причисывать и не прихорашивать, не облизывать и не воспевать случившееся в конце этого же кровавого века, раскрепостившее будущее?

Но страдает всегда только народ, поскольку начинающие «заворот кишок» далеко не всегда понимают, что затевается и случится, обескровливая отечество.

Кому она нынешняя справедливость и современная многоуровневая нравственность?

Всему находят оправдания.

Всему, включая и 1917 и 1990.

Но только теперь становится понятным, что и в том, и в другом случае, с разными подходами и началами создавалась огромная миллионоголовая секта, достаточно успешно овладевавшая недоразвитыми умами морально осклопленных людей, возмнивших о собственном личном величии.

Главное – захотеть, остальное приложится.

А ведь с этой магической веры начиналась Гражданская война, под ее будоражащими лозунгами натягивались колючки ГУЛАГов и выкорчевывалось инакомыслие. Под ее безумствующие лозунги совершаются и нынешние «дальнесрочные» русские перемены.

Но что и зачем – боженька так повелел? Проклял и возродил для новых русских страданий, посадив на мужицкую холку очередного пузатого держиморду, способного «править и созидать» с невиданным энергонапором обворовывания всех подряд?

Что Советская власть не справилась с провозглашенными идеями, касающимися отдельной личности, сомнений нет ни у кого. И самое главное, чего ей не удалось – сделать человека и собственную обольшевиченную элиту, прожженным коллективистом, спо-

собным напрочь и навсегда отринуть частную собственность в самом ничтожном ее проявлении.

Но почему не получилось, не смотря на сверх усердное и очень старательное трудовое гражданское перевоспитание, начиная с детских садиков, хождениями в строю, и кончая лагерями и зонами, кстати, посещающимися нашей «очарованной» и умиляющейся интеллигенцией, что уже повторить никому не удастся...

Почему никто всерьез, без ора и трепа, как на расплодившихся ток-шоу, с увертливостью схоластов и мимов, толком ничего не сказав, но досыта накривлявшись на трибунах и трибунках, на страницах газет и разных экранах, не хочет подумать над собственной отечественной историей и свершениями, которые снова пока не разверзлись серьезной бедой...

Страшно лишиться вдруг ВЕРЫ. Веры в близких, чем жил и пытался создавать, не щадя сил, в будущее детей, общество, государство. Оставаясь умеренным оптимистом, устал, надорвался, поняв свою незначительность и неспособность противостоять могучей демагогической системе, насилующей ничтожного человека. Душа просит покоя, равновесия мыслей, внутреннего согласия зла и добра, и не находит. Выстыло, вымерзло, выветрилось.

А было ли: странно, однозначно не знаю, но, кажется, было.

Или только казалось, что было, но судьба раззявила вдруг свою ненасытную пасть, дунула злобно и опрокинула вверх тормашками все мои прежние ценности, впервые по-настоящему заставив задуматься о событиях семидесятилетней давности.

По-настоящему и всерьез; без сокрушительных приставаний и трагических воплей.

...Многое, необъяснимо многое случается вокруг нежданно-негаданно, точно обухом по голове, сотрясая нашу привычную обывательскую устойчивость. Как выстоять и уцелеть, не совершив постыдного? О чем больше думается в минуты Великих потрясений, в эпоху которых доводится жить и страдать, изменяющих своевольно не только картину тысячелетнего мира, но и полюса его притяжений?

Незыблемого мира, не вызывавшего опасений и ставшего агрессивным, ожесточившимся, совершенно чуждым, отторгающим самого себя...

А в Европе все надеются упорядочить труд и примирить его с капиталом, вопреки убийственным выводам седовласого немца о невозможности подобного союза, и наконец-то нащупать идею, объединяющую мусульманство и христианство – что еще противоестественней. С завидным упорством воспеваются прелести свободного предпринимательства, впритык не замечая погубленную систему социально уравнивания труда с безграничными возможностями. Несомненно, менее доходными для ненасытного кошелька, но вполне достаточными для нормального проживания всех, а не отдельных, ее совершенствования на благо одурманенным и околпаченным, давно и охотно продающим душу дьяволу и золотому тельцу, и все равно ничего не скопивших. Всемирный ростовщик Заокеанские Штаты, не изменяя устоявшимся нравам, угрожает возмездием за посягательство на частную собственность и так называемые интересы державы-кровопийцы, наращивая мускулы, как осатаневший волчара, в постоянной охоте за тем, чем никогда не владел, но сильно хочется. Россия, выступив на мировую авансцену, словно пьяная девка в захолустной пивнушке с грязными номерами, напялившей на маковку золотой крест прошлой веры, бесстыдно плодит олигархов, как бесценную прослойку нового общества и, невинно опуская долу глаза, не замечает беспризорных детишек, брошенных на произвол стариков, и расширяющиеся погосты. Вновь околпаченным и еще более бесправным народом все пропито и перезаложено, а страна богатеет на зависть ненавистному Забугорью!

Только вот богатеет-то дюжина ловкачей далеко не русского происхождения, с легкой руки пучеглазого вдохновителя новой волны, нахально присвоивших накопленное нашими трудолюбивыми дедами, по песчинке перебравшими и переложившими с одного места

на другое золотиносную и алмазиносноу насылъницу-Колыму, включая нефтеносные и газосносные скважины посредине непролазных болот, а миллионы молчаливо взирают, дожидаясь нового звездного часа.

Так и живем – хлебную корку жуем в тоскливом ожидании милостей или от Бога, или от нового Молоха других моральных устоев.

От Молоха, не от президентов и толковых вождей-предводителей, которых Бог часто никак не дает...

Народ у нас мудрый, библейский всетерпец, и рассудительный, трибунным вакханалиям верит, печатному слову. Не грусти, трудяга! Наберись очередного столетнего терпения! Вот барин придет в себя после очередной поездки в разные куршевели-камбоджи и Всероссийского загула, поправит головушку, опрокинет хрустальный жбанчик рассолу вековой выдержки, почешет разбойную грудь и разведет по стойлам, чтоб не бодались друг с другом. Кто виноват? Сам захотел капитализму в онучах и нового переселения на бескрайнее русское кладбище под забытый тележный скрип и надрывные слезы; получай во всей бесхитростной, но соблазнительной как всегда упаковке!..

Нет, ну, мужик с сохой в борозде!..

Усохли, сникли русские деревеньки, терпеливо доживающие свой горестный час, пусто и глухо в весях – сердце сжимается у внука омского казака, сложившего голову за Отечество в жестоком Ледовом походе 19-го, и сына красного пулемётчика, захлебнувшегося собственной кровушкой на пятой атаке под Смоленском в 41-м. Проселки, так и не став проезжими дорогами, поросли лебедой и бурьяном, на городской обочине теперь толпятся наши бывшие деревенские бабы, мужики, безответные недоученные дочери, торгующие, кто последним социалистическим шмотьем по три копейки за пуд, кто собственным капиталистическим телом; землю, просторы пусть обихаживают китайцы. Деда пахали на царя-батюшку, отцы – на Ленина-Сталина с их ненасытной мировой революцией, внукам пришел час горбатиться на Гусинских, Березовских, Лужковых в купе с пучеглазыми родственниками Честнейшего Президента Времен и ваучерного благодетеля.

Помните, как бил себя в грудь, обещая общенародное обогащение и бескомпромиссную борьбу с привилегиями? Ах, как хотелось поверить, отдать и голос и сердце! Вырастили себе на шею! Под завязочку получили, земля тебе пухом, благодарствуем, родименький, но Всероссийским Отцом, хотя бы на нижней ступеньке у Иосифа Сталина, как не сравнивай, так и не ставший, вовек не забудем! Особенно за хамоватое барство с годовыми доходами, превышающими бюджеты федеральных округов, не ощущающее никого вокруг, кроме себя любимого да удачливого.

Не намного лучше оказались и последующие, пришедшие при нашей Всероссийской поддержке, на смену тем, что были после каганов, (да-да, каганов; и такое России выпало!) царей-императоров и атаманствующих губернаторов, вроде бы с чувством, понятиями о мужике и народонаселении из трудников, с уважением, мы – Россия, в беде никого не оставим, а не выходит. Ну, ни разу не вышло, чтобы хоть и не досыта, как у отборных осеменителей мракобесия, но по уму. Реально, пусть блеф, как в «Кубанских казаках», но не по ящику, заполненному пляшущей гоптусовкой.

Чтоб всем хорошо и по-людски, а не перекочевавшим в коттеджную элиту, кем не являлись и не являются, потому что бандиты и откровенные циники, прущие на сцены недавно нормальных театров и Центральное телевидение, умело заполняющие вакуум всенародного обольвания.

Ни, разу не получилось, что по прямой как струна в коммунизм, что по самой кривой и загаженной!

Ну, нет нас, мирян с руками, по локти в крестьянском навозе, и мелкооптового ничтожества, без животика и брюшка, есть прослойка-толпа жадно выжидающих очередных

выборы, чтобы «бюллетеню» в щелку впихнуть за «поощрение», не прочитав даже, кто там и что.

Думаете, картавенький так уж напрасно Нэпа перепугался, испробовав от чистого сердца и с великой надеждой на совесть и нравственность?

Тут напугаешься, когда все в натуральную величину, перед глазами, но с воплями-уговорами, что такие, дескать, не все.

Не все, но потому, как грабили и грабят дедово отечество, крепнущее большинство, кто в кормушку забрался с ногами, а нам друженько в голос – собственность, не замать, не доказано, что стырено, не для этого «перестраивались» с помощью гайдаров-чубайсов и уральским упрямым бугаем, оглоблей им по черепку, другого не скоро дожидаться. Вовсе не скоро при слюнявости нашей власти, впритык не похожей, хотя бы на Петровскую, которая, вроде бы по душе достаточно многим, да только не всем.

Но ведь везунчик-то – вор, товарищи-господа, начиная непосредственно с прокуроров, что в народе все знают; как же вы в глаза ему смотрите уже четверть века и не сгораете со стыда, талдыча и талдыча, что черное, никакое не черное, а белое... хоть и не совсем!

Что белое, послушайте депутатов правящей и полуправящих партий, и черным не было, лишь оптический обман.

Мыло и мыльные лужи; не меняется и не предвидится – порода!

Трудовая интеллигенция на подачке, чтобы ЖКХ не скукожилась – миражи? Треп воспаленного воображения, охваченного непатриотическим злопыхательством? Бабки-дедки на кладбище не могут добровольно добраться и поскорей успокоиться, чтоб не видеть, не слышать, и что ноги давно не ходят – опять поклев на действительность и наговор? Детей брошенных и беспризорных, каких сроду в России не было в таком изобилии – вовсе придумка, американцы всех уже вывезли для тренировки своих умственно отсталых родителей?

А телевидение упивается, скачет и пляшет под зык не стареющих бело-голубых особей, избавившись от людей настоящего и жизнеутверждающего отечественного искусства, не имеющего ничего общего с голыми тумбами-ляжками и неглиже...

Скотство, если не сказать при виде примелькавшейся примадивы с вечно расшеперенными ногами – скотоложство в каждом кадре искусства-новодела, вмиг переплюнувшее американский хэп-энд. Ворюга на ворюге, куда не повернись! В любом кресле! А если не стал и не можешь, то и служба тебе ни к чему.

Для чего она неспособному жить и наслаждаться, обгораживая фазендочку каменно-бетонными заборчиками метра под три!

Ха-ха, Сталину бы показать! Или Ульянову-господину, падающему от истощения, но владеющему страной!

И кругом, не унимаясь уже четверть века, не ощущая пределов!

Ненасытный ворюга, заботливо выпестованный нашими упитанными и вальяжными демократами шепеляво-гундосой волны, упрямо продолжающими ласкать наш слух призывами об амнистии капиталу.

А где амнистия ни в чем неповинному труднику и компенсация за грабеж похлеще Октябрьской реквизиции!

А возьми-ка любого как следует за мошонку, да прищепи дверью по старому обычаю, такое полезет из вновь народившегося краснорожего барина с бусыми от пьяни зенками.

И не только рябчики с ананасами...

Легче в могилу молча зарыть, да ведь осчастливить успел кое-кого из власть поимевших, делился, пока капиталы удесятерил мановением волшебного чиновничьего пера, и делится. А ворон ворону глаз не выклюет, в защиту тусовкой попрут – адвокатов-то расплодилось: один ярче другого, включая халявщиков непосредственно из толпы.

И тоже все – истинные правдолюбцы, защитнички чести, вроде бы даже какой-то морали, под зорким доглядом самого Главного правдолюбца в комитетах совести заседают, мать их...

1

Испробовав казенной свободы с колымскими зонами отчуждения, русский ум так и не осилил главное – в чем же все-таки основополагающий смысл истинного народоправства, почему-то не вызревший ни на самобытной волне Новгородского вече в прошлом, не в трусливую пору коммунистического рая двадцатого века. Основа была серьезная, вполне нравственная, из десяти заповедей совести и морали, из которых ни одна не выполнялась. Как и в нынешнюю продвинутую эпоху. И, похоже, покрывая землю обильными всходами всяких случайных «оттепелей», не вызреет, так в зеленом виде и будет вечно уходить на корм самому себе.

Идеи! Идеи! Вечные метания и надежды на возможное и неосуществимое лишь потому, что все мы убоги и мелкотравчаты по природе разума и греха, а ЛИЧНОСТИ и ФАКЕЛА как не было, так и не предвидится.

Приходят, Россия еще способна рожать, но потрясут мотней, задурят обывательские мозги очередной песенкой...

Да, это печально и неисправимо, поскольку безумие, поражающее время от времени наш рассудок и его здравомыслие, схоже с наследственной неизлечимой болезнью, а понятие настоящей справедливости всегда беззащитно, убого и обособлено.

...На всем протяжении истории развития светской государственности только Великой России удалось дважды изменить и статус общества и градиенты его полюсов, сделав белое красным, а потом красное снова белым – правда, пока грязно-белым, – и дважды переменить плюс на минус его общественных устремлений. Только Великому Евразийскому конгломерату разноговорящих народов, объединенному общим нервическим спазмом в единую державу-саттелит, выпало испытать на самой себе и основополагающей русской нации как взлет кровавой эйфории так называемого «разрушения оков», так и позорное дезертирство с полей этого гигантского всепожирающего сражения. Пережить предательство правящих верхушек той и другой систем и, хуже того, измену нравственным идеалам, выстраданным и освященным нашими великими предшественниками, собственной интеллигенции, доказавшей своему истстрадавшемуся народу, что абсолютной святости цели не существует даже для нее. Причем, как в первом потрясении изменой «БЕЛОМУ ДЕЛУ» самой царской семьи и близкого окружения, так и во втором – «КРАСНОМУ» – всего коммунистического маршпарада, начиная с безбожных идиолов-лидеров, опять не беря в расчет состояние самого ошалевшего народа, получившего возможность «оттянуться» на халяву и наораться до одури.

Только – России, так и не создавшей своим согражданам самых ничтожных предпосылок для просветленного рая, которого в природе живого, исключая не писанные законы бытия отдельных кланов и особей, просто не может быть.

...Я не искал крутых сюжетов для своего повествования. Я думаю и размышляю, о них, вспоминая деда-казака и отца-красноармейца, с августовских событий 1991 года, свидетелем которых довелось быть не только в Москве-Ленинграде, поучаствовать в тусовке у Белого дома, но и в Средней Азии, включая последние «цветные революции», и потому не нуждаюсь в расспрашивании, кто что чувствовал и совершал. Надышавшись едким угаром в самой гуще событий, имею полное право на личную оценку произошедшего. Только собственное сердце и собственная душа – Бог и Судья моим ощущениям и личным поступкам. Иное для моего беспокойного разума на склоне лет уже не приемлемо...

Укатилось вслед солнышку за бугорок горизонта два десятка годков ошалевшего русского пьянства, уложившего в могилу намного больше моих родственников, не считая духовно искалеченных, убитых нравственно, безвестно исчезнувших и не родившихся вовсе, чем Отечественная война, о которой родименькая интеллигенция, продолжает базонить, не без оснований и горечи дергает всеу Вождя всех народов. Но святость памяти тут причем, господа, и безответный русский солдат, которому никто из нас, жидкоструйных, не годится в подметки. А вот в собственную грудь подстойней ударить, – тут нас еще достает...

Что-то в каждом уже как-то выровнялось, приутихло, выветрилось, но что-то свернулось в ком грусти и сожаления, давит и жжет. Вот это, что давит и жжет, неудержимо рвется наружу. Через судьбы людей разных эпох, прошедших перед моим бунтующим воображением, попытаюсь, насколько сумею, и позволит время, отведенное мне Небесами, просто порассуждать о прошлом и настоящем, о будущем наших детей и внуков с доступной для моих чувств искренностью, не исключающей собственных заблуждений – возможно и такое пойдет кому-то на пользу.

Не хочу больше кроваво розовых игрищ даже во имя ценностных миражей, так называемых прав и свобод отдельной личности, которых по-настоящему и серьезно, не существует в природе и никогда не будет, хоть лоб расшиби. Не верю и на защиту грудью не встану. Как и на выборы уже никогда не пойду: ходил, активно участвовал, бессовестно нарушал по соответствующей просьбе. Баста, не хочу плодить подлецов и хамов своими руками, а сражаться в открытую давно непосильно.

Не верю, подобно своему народу, задыхающемуся безысходностью в самогонном захолустье и мало-помалу осваивающему новую реальность «светлого» бытия, где все продается и все покупается... включая нравственность и мораль.

Разум не верит, насытившись тем, что равенства нет, ни нам, ни детям, и в сказке до него не дожить.

Потому что все это БЛЕФ, полезный для одной части общества и вечно губительный для другой. Потому что двусмыслица этих прав и свобод существовала всегда и останется неразрушимой до скончания самой человеческой общности.

Мудрецу мудрецов Конфуцию, которому его император предоставлял все возможности, не удалось навести приличную справедливость, куда уж нынешним «просветителям», замеченным работой мозга совсем в других направлениях, успешно торгующими липовыми дипломами о высшем и сверх высшем, при этом, удачно сохраняющим халявные особняки и здоровье!

Слышу и сострадаю, гневаюсь и чего-то стыжусь – выходит, еще жив. Правда, не знаю зачем. Хотя когда-то вроде бы знал или думал, что знаю. Но кто-то разом, как тушат свет, накинул на мою изувеченную душу плотную ткань ночи. Мне стало не холодно и не жарко, показалось, сбегалась в глубине сердца как ртуть, навсегда затвердев, сама буйная кровь – радость жизни... лишенная сладкого мифа, с которым было, все же теплый.

Кто и когда разожжет новый очаг в моем пасмурном доме – не знаю!

Не знаю, и знать, пока не дано.

Ощущение одно: нет СЕЯТЕЛЯ и нет СОЗИДАТЕЛЯ, кругом только бессовестные рвачи, карьеристы, хапуги, хватающие друг друга за горло. Увертливые политики, лихие оракулы и ораторы, вновь завладевшие сознанием самой скукожившейся массы, называемой народом, убежденные в том, что они и есть новые ПРОРИЦАТЕЛИ, владеющие умами.

«Недоструганные», извиняюсь, лидеры и свеженькие вожди, работающие в роли завхозов при ЖКХ и окончательно спасовавшие перед всероссийской коррупцией, олицетворением которой стали уже не дороги и дураки, а многоуважаемые ведомства с бесконтрольными финансовыми потоками и непотопляемый жилкомхоз.

Позор подобной нравственности и бывшей Великой державе – по-другому сказать нет сил.

Изменилась и Церковь. Нет ПАСТЫРЯ для заблудшей православной души, не жаждущей покаяния. Бубнит себе в пустоту, упиваясь убожеством паствы, сошедшей с ума и тупо бьющей поклоны. Для греховной русской натуры и преклонение перед алтарем – скорее, экстаз и самоистязание, но никак не раскаяние: ум российский противоречиво-буйный всегда живет мало кому понятным раздвоением, когда в храме незримого Бога ему вроде бы совестно, а за порогом никакого стыда.

Велик и могуч русский народец, по сей день непонятного корня, но, точно, зачавшийся от Аполлона, мифического владыки Северного Беловодья, лих на распутство и безоглядность. В такую минуту под руку ему не становись, зашибет, не смутившись, что под нательной рубахой носит православный крест совести...

Впрочем, «зашибать» друг дружку – такое Великая Россия уже проходили, когда умиляли пастыри и рушились звонницы...

И может быть, не Ленин – главный мировой коммунист, а Иисус Христос, имея свои скрижали веры и верований, свой нетленный кодекс человеческой морали, которые Ульянову только приснились и ввели в преисподнюю, не в коммунизм?

И может быть, Библию пора считать и осваивать не как религиозное божественное учение, а самое что ни на есть общечеловеческое и социально-нравственное, и все встанет с головы на ноги?

Лишь бы поменьше мистики и мракобесия, начетничества и догм, и все станет понятным, востребованным, объяснимым нравственно и, самое главное, социально значимым в смысле бытия.

Глядишь, тогда и буддизм, мусульманство, тенгрианство хунских времен, прочее и прочее, окажутся не враждующими догмами, а потребностью для души и нравственного возрождения свободолюбивого, но крайне замордованного человечества, не наученного жить без кровопролитий и войн.

Или тоже утопия?

Но ведь монахи и священнослужители – явь (только не те, что с крестами в цепях), все-таки не императоры и прокураторы, ни злата, ни серебра, ни дворцов, кроме обособленной кельи. К ним доверия больше – доказано не стяжательством, а истиной святостью, которой мирянину, в его жлобстве и ненасытности, никогда не постичь...

Впрочем, что было и было ли – не знал и не знаю в той мере, как просит душа, чтобы иметь возможность хотя бы только понять, где сон, а где быть, и жил ли на самом деле...

В цепкой памяти вечные грешницы сибирской земли: труженица-мать, ее подружки, деревенские мужики, искалеченные войной, старухи, умудренные жизненными невзгодами, учившие нас, голопузую ребятню, обычной деревенской совестливости увесистыми подзатыльникам.

Перед глазами родная деревня в три улицы над тихой речушкой и озером... потом деревенька... последний дом, исчезнувший вслед за теми, кто его возводил. Новые кладбищенские кресты, рожденные новой властью уже в нынешнем веке...

Власть! Снова безумствующая русская власть, бесстыдная и беспощадная к незащитному и вечно бесправному, но родоначальнику всего ПРОРОССИЙСКОГО – деревенскому жителю, у которого в неизбывном долгу поголовно вся разжиревшая на халяву Златоглавая Русь...

Родимая неумытая русская деревенька, навсегда поселившаяся в детской крови! Как рассказать, что делала и вытворяешь ты с безответным мужиком, так и не познавшим со дня зарождения света настоящего счастья? Где оно заблудилось в стороне от тихих затравене-

лых проселков и каким должно быть на многотрудной великой земле, пропитанной потом и кровью многих и многих твоих поколений?

Не суди строго за мои никчемные усилия, в ответ на которые почти сорок лет назад получил приличный отлуп одного вполне уважаемого деревенского сочинителя эпохи развитого социализма за то, что «...в то время как партия и советская власть укрупняет, облагораживает... нашелся сибирский писатель и льет крокодилью слезу...»

Не слеза это, а посильный реквием невозвратному.

Часть первая

Глава первая

1

Так уж устроен жестокий и противоречивый мир на земле, что человеческая жизнь – единственное, что не имеет цены и дешевле воды. Так, так, не стоит спора; привыкай, не привыкай, но снова как обухом по голове: еще одного затурканного трудника Советская власть отправила на социалистическую трудовую перековку. И кого – трахомного помощника бригадира тракторной бригады Андрея Костюка; прикатил спозаранок известный в районе черны́й бегунок, и нет безотказного тракториста, не иначе, сморозившего что-то не к месту, где, лучше бы лишнего не ляпать.

Да мать же его – душа, прям, захолодела, как вчерашняя школьница с семью классами Нюрка Пимакова, с осени зачисленная в уборщицы, прибежав со всех ног, крикнула сквозь дверь: «Андриан Изотович, Костюка увезли. Фаина примчалась ревмя ревет, он же больной, а им наплевать». И что тут сделаешь, он-то чем, побежит-поможет, валерьянки налить полведра? Но то, что Андрюха серьезно болеет, управляющий знал, сам вчера отпустил с обеда из кузни, где вовсю идет ремонт почвообрабатывающей техники.

Вечного нет, молох беспутствует, людишек меньше и меньше, а исполнительных истуканов, как ваньки-встаньки, пруд пруди, нет отца и матери, сам одной ногой... но Россия-то есть, Отечество, вроде бы дишит!

И было, умытое и неумытое!

Нервы ни к черту, особенно после контузии, о мыслях вообще лучше не заговаривать, Таисия только вздыхает, хотя и до войны были не намного лучше.

Почти десять лет, как война закончилась, а врагов не убавилось, вот и Андрюха попал на крючок. Андрюха-трахомник! Не друг и не товарищ, откомиссован по непригодности, какой из него солдат, но тракторист-механизатор нормальный.

Ну, почти нормальный, как-никак, все же, мужик.

Сердце в разнос: фашист палил – не допалил, вешал – не довешал на перекладинах, свои теперь взялись? Враги, только враги! Андрюха-трахомник, враг, ума-то насколько? Не иначе сморозил где-то не то – больше не за что...

– Андриан, не пушу! Хватит, сказала! Доиграешься с правдами, – лезла грудью Таисия, тесня от двери.

– Отстанись, мать твою в придурков, санитары чесоточные.

– А я не пушу!

– А я спрашивать разогнался? – Переставил жену с одного места на другое, даванул дверь от себя, через десяток минут был на конюшне, еще часа через два, преодолев снежную муть, сидел, не снимая собачьей шапки, пыхтящий, похожий на ежа, перед уполномоченным органов, старым дружкой Матвеем Решетником. Дружба началась с довоенной поры, когда их в один день и на одном собрании принимали в комсомол. И он, зная свое непростое прошлое, сильно нервничал. И Матвей хорошо знал, кто у него отец, как-никак из одной деревни, и чего Андриан боится, был рядом, постоянно подбадривал, оставаясь открытым и честным парнем. Когда их приняли, Андриан обнял дружка и сказал, как поклялся; «Ты у меня единственный друг. И на всю жизнь».

Жить честно, на высоком накале не просто, но комсомол давал такой подзащит. Подлость прет не там, где система непригодна, а жидковатая для смелого шага душонка дает

сбой в трудную минуту – ведь и в комсомол вступают самые разные, из одних получаются обычные доносчики на товарища, из других – настоящие друзья. И беда этой системы – она развивает не только лучшие качества личности, но и мелкий подхалимаж, доноительство, желание не честно служить, а скорее выслужиться, что свойственно вообще человеку. И что они с Матвеем поняли как-то сразу, никогда никого не закладывая в корыстных интересах, и не спеша сдавать по первому подозрению, которое не всегда правильно, нередко споря достаточно горячо. Когда был объявлен набор патриотической сельской молодежи в органы государственной безопасности, их пригласили на собеседование, Андриан колебался и не решился испытывать судьбу. Война развела их дороги, и снова свела, когда Андриан окончательно выписался из госпиталя, приехал в райцентр оформлять нужные документы и столкнулся с Матвеем, который попытался сходу сманить его в свое учреждение, бедствующее кадровыми работниками. Они просидели полдня, но Андриан откровенно и твердо сказал, что не хочет подобной работы, разозлив Матвея. Расстались они недовольные друг другом, уверенные, что разошлись навсегда, но когда Андриан оказался управляющим отделения совхоза, и почувствовав излишне неприятное внимание к своим подопечным, бездоказательно, скорее, для счета выставляемых только нарушителями социалистической законности и поголовно мелкими воришками, пришлось вспомнить о старом друг и заявиться с поклоном, как заявился сейчас, к чужому разве бы он полез с откровениями и желанием кого-то защитить.

– Снова? – не особенно доброжелательно спросил Решетников.

– Дак, в душу твою, куда мне еще, кроме тебя!

– Кто?

– Помощник бригадира тракторной бригады Костюк. Трахомник из трахомноков, легкие в дырках, сам не седне-завтра загнется, а в плугах-тракторах кумекает... Март в разгоне, Матвей Александрович, самый ремонт, а я как без рук, Грабли-бороны, другую мелочевку в МТС не берут...

– Кто у тебя самый старательный?

– Ветераны! Паршук и Егорша.

– Ну, ну, слышал. старательные! Если на зарплату оформить... Паршук, Паршук! – забубнил Решетников, перебирая на столе стопку бумаг, – Ну, вот и малява пока у меня, наверх не ушла.

– Отпустишь, Матвей Александрович? Да нету за ним ничего, голову на отрез, а Паршука я прищучу?

– Который на твоего отца доносил?

– Дак в красных штанах когда...

– А другой?

– Такие уж уродились... Мне бы Андрюху не упустить.

– Суета большая, проверки одна за другой. Под контролем подержать можно, большее не смогу.

– Матвей ты меня знаешь!..

– Не надо, не заводись.

– Да в душу твою! Я куда хошь!

– Вот и не надо, не надо, и так шум создаешь, меня уж предупреждали по дружбе. Себя пожалей и жену с дочкой, тебя выручать будет некому.

Сбегал, называется, спустил пар!

Возвращаться в деревню, зная, что его поездка в райцентр не останется не замеченной и наиболее чувствительные обязательно будут встречать, не было ни сил, ни желания. Столовка уже работала. Заказав непочатый читок и свекольник с яичницей, уселся в дальнем углу. Водку влил решительно, двумя приемами почти без передыху, без охотки приговорил

яичницу, а свекольник с тухловатой капустой, поворочав ложкой густое содержимое, оставил почти не тронутым. Других дел в райцентре не было, хотя в МТС неделю как собирался, выехав за поселок, завернувшись в тулуп, лошади дал свободу и задремал, очнувшись у себя на конюшне, разбуженным конюхом.

– Ты че? Ты че, Андриан? Таисия дважды уже прибежали, мужики на взводе – тебя носило куда? В район што ли? Ну-к, ты даешь, управляющий!

– Распрягай. Буду на сеновале. И никому ни гу-гу.

– Дак, а Таисия?

– Да мать твою в кальсоны!

Странно, спал как убитый, как дома давно не дрыхнул, читок, видно, помог, по скрипучим ступенькам крыльца поднимался в сумерках.

– Приехал! – понеслось впереди упреждающим Нюркиным шепотом.

Он прошел молча к столу, породив тревожное оживление, плюхнулся в самодельное креслице, работы местного «краснодеревщика», не скидывая шапки, откинулся затылком на бревенчатую стену, увешанную графиками и плакатами, с броским лозунгом на кумача под потолком и портретом вождя чуть пониже

Понятливо зашелестела газетная бумага, сложенная для самокруток, закружился горьковатый тяжелый дымок, мгновенно наполнив кабинет управляющего.

Но – тишина; крутая пора, перца с аджикой больше чем соли, но какая жизнь – такие и скрытые мысли, других пока не предвидится!

Марток – одевай семь порток, дыбился не на шутку. Посвистывая и погуживая, словно дуя в трубу, в окно хлестала поземка. Было блекло, мрачно, туманно. Вечер. уплотнялся и загустевал. Заработал движок подающий электричество и качающий воду в коровники. Сотрясая стылую землю, в сторону скотного двора прошли два гусеничных трактора, тянущие скирду на тросовой волокуше. Отлаженная работа в деревне продолжалась, сумерки ложилась тихо и незаметно, ничем особенным, если не считать крепнущего ветра, сильнее и назойливей торкающегося в стены конторы, не беспокоя управляющего Маевским отделением Кругловского совхоза Андриана Грызлова. Почему тревожил по-волчьи завывающий ветер, Андриан вроде бы не понимал и не думал, сожалея, что не смог помочь Андрюхе, а невольная сумятица не исчезала. Отдавала горечью, словно на него и деревню, два года назад занесенную в разряд неперспективных, вот-вот должна была навалиться новая непоправимая беда, которую он ожидает далеко не первый день, и которую уже не осилить: ну, приедут однажды и всех подметут.

Объединение колхозов-совхозов, сселение и укрупнение деревень получило сильный толчок после известной статьи в «Правде» от 4 марта 1951 года секретаря ЦК Никиты Хрущева, просто-таки сорвавшая страну с катушек, со дня завершения войны ожидавшей каких-то существенных перемен, подтверждая оглушительные результаты уже совершенного на этой творчески-созидательной почве и призывающей к новым решительным действиям. И у них в райцентре началась поспешная суэта, но скоро появилось перешептывание, что есть другое письмо Никиты Хрущева, уже покаянное к товарищу Сталину о совершенных ошибках, а через месяц закрытое письмо ЦК «О задачах колхозного строительства в связи с укрупнением мелких колхозов», с проработкой и выводами, смысл которого всегда был ему непонятен – как это можно закрывать что-то от народа, дающего тебе власть а ты распоряжаешься закрытым посланием для избранных. Проработка была достаточно плотная, местные ретивцы вроде бы успокоилась, сбросив немного парок, но на ус намотали, что и к чему, «укрупнение мелких хозяйств», стояла в самом заголовке, как не крути и не тешься надеждой, и с того времени он и деревня как на иголках, словно под занесенным топором. То, что сторонников у автора-инициатора масштабных перемен более чем достаточно, Андриан особенно не сомневался, поскольку это был повод избавиться

от множества излишних вопросов сельского быта, благоустройства, малокомплектных школ и дорог, переложив последствия на государство.

Мужицкое предчувствие беспочвенным не бывает, если уж что-то вошло в голову, то просто не выйдет, будет мучить, тянуть соки, требовать ясности. Похоже, нечто подобное испытывали мужики и бабы, потревоженные очередным утрешним налетом черного воронка, набившиеся в контору, напряженно посапывающие, не расположенные к шуткам и обычному языкастому озорству. Жизнь в страхе как сарай на запоре – запереть, чем найдется, обычную палочку затыкой воткни, никто не выдернет, да положить про запас нечего. Старательно и добросовестно делили мораль, одевались совестью, закусывали долгами в виде облигаций, восхваляли Советскую власть, честнейшую на планете Земля, обкоморайкомовскую ухоженную элиту, Отца Народов – товарища Сталина.

Странная жизнь складывается у русского мужика во все времена, и самые светлые, и тягостно мрачные, постоянно под строгим контролем. Это только говорят, что так же вот с марта 1861 года крепостного рабства в России не стало, а чем оно лучше Юрьева дня для колхозе? Паспорта и разрешения на свободу перемещения по-прежнему нет на руках, на строительство избенки фактический запрет, что предки поставили до Октябрьской, тем и пользуясь, трудодень ниже предела. Терпеливый, самый морально-совестливый творец великого будущего, устойчивый на земле, не считая еще больших трудоголиков китайского происхождения, равного нет, всем готов помогать, а ему... Ну не на божничку, конечно, че уж про это, но с порядочностью и взаимоуважением в норме; правда, не затеяв ни войн, ни междоусобиц, лоб в лоб с забугорным супостатом почти постоянно, доказательством – у него еще предыдущая гимнастерка не износилась. То ли, другое, но лезет и лезет в башку, мать его в печенку, а выключателя нет, приходится переваривать!.. Как незвано-непрощено лезут и к нам: ну, че бы забыли? И всегда по зубам, по хребту, под дых с полным нашим уважением, а неймется. Еще одну оказию не разгребли, уже другую готовят. Да-аа, Забугорье, конечно, известный супостат-лихоимец, надо бы как-то напрячься и зачистить на раз, чтобы не возвращаться, как говорится, к вопросу продуктивности производства, ну а самито у себя? У себя-то мы что, вот что собрались – палкой не выгонишь? Народ, Андриан Изотович! Тот самый, который с войны только вернулся, самого Гитлера уколошил.

В общем все хорошо понимая, Андриан Изотович особенно не вникал в происходящее рядом; погруженный в себя и нахохлившись филином, сидел, откинувшись головой на бревенчатую стену. Мыслями разбрасывался широко и вольно, а сердце давило... как огурец в капустной кадушке.

Мужик трудной судьбы с военным и довоенным прошлым, надеждой и верой, упертый на своем, отца переборовший, вступая когда-то в светлую коллективную жизнь.

С желанием вступая и добровольно.

Сумерки уплотнялись, ветер крепчал. В стены бухнуло раз и другой, словно проверяя конторку на прочность, сухой наждачной крупчаткой осыпало полузамерзшие окна, и мысли управляющего, натывавшиеся на омертвелость утомленных чувств, невольно замирающие с шуршанием снега за стеной, чтобы набрать новый разгон, окончательно сбились. Его крепкое мужицкое тело сотрясло зябким ознобом, пошевелившись, невольно наткнулся на неотвязно-пронзающий взгляд жены.

Таисия внимательно и откровенно осуждающе следила за ним, воспользовавшись, что взгляды встретились, поспешно спросила как на автомате о чем-то насчет родилки для телят, являясь заведующей. В далеко улетающих мыслях Андриана и утомленном воображении места телятам пока не находилось, и он промолчал, но и двигаться не хотелось.

Поговорив еще о всяком необязательном, мужики, как по сигналу или нежеланию покидать кабинет управляющего, в который раз дружно потянулись за куревом. Клубы табачного дыма снова наполнили кабинет, Андриану Изотовичу показалось вдруг, что он

задыхается. И он вроде бы снова пошевелился, появилось острое желание вырваться на простор, на свежий воздух, но в конце главной и довольно широкой улицы, хорошо просматривающейся из кресла, приставленного к столу сбоку, на буграх за камышами взметнулась легким крылом новая белая канитель. Поднялась и мощнее прежних, счет которым он давно потерял, поднявшись белым саваном над рекой, понеслась на деревню.

Мысль, что огромный снежный полог, поднявшийся над степью и неожиданно представший погребальным покрывалом, способным упасть сейчас на скукожившуюся деревню – да и не деревню уже, а лишь деревеньку – и навечно накрыть снежной лавиной, прекратив разом людские страдания, была неожиданной и разозлила. Решительно изгоняя ее, Андриан Изотович крепче вдавился затылком в бревенчатую конторскую стену, окинул хмурым взглядом своих «сподвижников», выбирая с кого начать.

И снова Таисия уловила его беспокойство, резко спросила:

– Ну, ково не вздрючил еще? Может, хватит на седне пучить глаза, по домам пора?

Мужики закряхтели надсадно, не привычно поворачивалось, портила обедню Таисия. Понимая ее мысль без всяких переводчиков, дружной затрещали дымящимися самокрутками; ну как это уйти, когда вопрос в самом зените и ответа как будто не предвидится.

2

Снежный заряд летел на контору и Андриана Грызлова, попутно мощно ударяя под стрехи утопающих в снегу избенок. Захлопали незакрюченные ворота и притворы, громынула плохо прибитая жесть. Нарождался и креп тягучий посвист привычной дикой стихии, ее звучное шебаршение в берестяных колечках прясел и оградок. Ураганный вихрь будто нацелился в сердце Андриана Изотовича, ожесточив до предела и вызвав желание противиться, устоять, не сдвинуться с места, как случалось нередко в самых высоких районных кабинетах, где от него добивались невозможного в отношении пятилеток, обязательств по году и отдельному кварталу, социалистических и какие они там. У нас ведь в российской деревне, в грудь себя на собрании не постучав с клятвами и заверениями, уважения начальства ввек не получишь, иногда нужно было выстоять, не поддаться, не пойти на поводу, чтобы потом горькие пилюли не глотать... Хотя бы у стихии-ворога, ведь власть, когда народная, не может быть злее собаки и вконец неуступчивой к труднику. Готовый к новому противостоянию с несговорчивой, неуправляемой судьбиной, будь то упрямое начальство или злая обычная непогодь, Андриан всей грудью приналег на массивный стол, заваленный бумагами.

Кроме Таисии, осуждающе покачавшей головой, снова никто ничего не заметил. Стол выдержал, не скрипнул, и на округлом небритом лице Андриана вроде бы ничего не переменилось, лишь в груди заныло надсадно болезненно, вызвав прилив неожиданной тошноты.

«Сколько же можно противиться в этой жизни и яростно сопротивляться, доказывая, что черное было и есть только черное, а белое...» – думал он с горечью про себя, разумеется, не решаясь подобное произносить; в мужицкой жизни вопросов было и будет больше ответом.

За окном, совсем рядом, побрякивал голыми веточками невеликий клен-подросток, посаженный школьниками прошлой весной в честь Дня Победы. Вылетев на острый гребень сугроба у конторы, шальной ветер-низовик торкнулся с разлету под нижние венцы старого здания, перенесшего много подобных бурь и буранов, выросшего накрепко основанием в кержацкую землю испытанных староверов, словно пытаясь поднять и унести в неизвестность его молчаливо хмурых обитателей во главе с управляющим.

Знатно торкнулся, здание застонало и, в который раз не осилив крепости надежного строения, хрупнул со злости и от бессилия обледенелой вершинкой неокрепшего деревца-клена, внезапно вызвав досаду.

Потерев мясистый лоб с крупными залысинами, размяв затылок, задубевший от холода стены, управляющий встал, подойдя к окну, надолго уставился на изломанный саженец.

«Ломают... Всех что-то и кто-то ломает. Ни конца нет, ни края. Такую войну, фашиста осилили, а нормальную жизнь поставить не получается».

...Жизнь текла подобно мышинной возне в подполье, радио что-то долдонило в рупор над крыльцом насчет ремонта сельхозтехники, подготовки семян, скорой посевной – вот в этом был четкий порядок, стружку снимали во время добросовестно и заряжали умело, как патроны в ружье. За минувший февраль почти не выпало погожего дня, Андриан Изотович никуда не выезжал дальше фермы и сеновала, и весь февраль, с утра до вечера, у него перед глазами торчал этот невзрачный кленок, осыпанный белой порошей. Никогда ранее не привлекая внимания, сейчас он вдруг словно бы взывал о помощи, просил его, Андриана Изотовича, защиты.

Воспоминания родили еще более тягостные чувства от прожитого дня, всего вообще, чем он жил в последнее время, ощущение полной обреченности. Затуманенный взгляд торопливо побежал тем же неровным путем, которым пронесся по улице диковатый упругий ветер. За кленом и ближними избами все мело, взвихрючивалось в степи и в заречье. Поскрипывали надсадно плененные снегами стылые березняки, словно не нужные никому, как не нужен он сам и одинокий сломавшийся клен, глухо гудели выстроившиеся, точно солдатские полки перед маршем, приобские ленточные боры. И в потревоженной груди Грызлова надсадно стонало, ухало, гудело.

Зима – особый настрой сибирской деревни, делаая ее самобытную волю неустойчивой и несносно тяжелой; зимняя жизнь деревенского жителя скучна, однообразна, утомительна будничной серостью, от которой нет спасения. Вдвойне она утомительна в степной глухомани. Но общее раздражение Грызлова вызывалось не заведомо привычными обстоятельствами и «отдельными вывихами социалистической действительности», как в очередной передовице районной газетки «За коммунизм», а тем, что снова не удалось отстоять совершенно безвинного человека и деревеньке приходит конец, в будущем коммунизме-социализме уже не бывать. Как вообще усыхают, испаряются деревеньки, становясь малолюдными, сельчане правдами и неправдами перебираются в города, поближе к цивилизации.

Первопроходец-мордворот Агафон-мордвин рассказывал своим детям, а те – своим, и до Андриана-школьника докатилось от влюбленного в край учителя географии, заведовавшего небольшим школьным музеем, что края эти – глухое непроходимое чернолесье, пользовались дурной славой с разбойных демидовских времен. Ленточный бор краснолесья тянулся несколько северней и ближе к сибирскому тракту. История появления звероватого Агафона в здешних краях и его беглых ушкуйников в подробностях не сохранилась. Ватага не один день искала подобную глухомань, но строилась быстро и дружно. Вначале – как положено – вкопались в землю. Осилив студеную зиму, взялись за избы. Еще через год женок нашли. Власти, привычные ко всему, безмолвствовали, препятствий не чинили, как без нужды не проявляли лишнего любопытства. Да и какая власть в глуши, где медведь – губернатор: не с их появлением жизнь зачалась в суровых здешних краях, не им ущемлять. Почему – Круглово, словно какой-то первопроходец кругами долго ходил, сомневаясь, стоит ли именно здесь начинать свое будущее и где поставить избу, точных сведений нет, земли были царевы, и вопрос решался не в местной канцелярии, но связан с работой плавильных заводов Его Императорского Величества. К началу Столыпинского переселения – кстати, сам Петр Аркадьевич соизволили лично посетить проездом кондовое село с тремя церквями, старообрядческим скит на отшибе, крупным сыродельным заводом и паровой мельницей на поставках – насчитывало свыше десяти тысяч душ обоего пола. Новый революционный порядок установился без особенных трудностей и кровавого мордобоя, как придумывалось опосля: наскочил в смутную пору какой-то малочисленный отрядик блуждающего

атамана, пограбил наскоро и ускакал, существенно поспособствовав умственным рассуждениям вполне зажиточного населения, не желавшего перемен. Вспомнив о Декрете Временного правительства, позволявшего смену власти обычным выборным путем, наутро мужики собрали сход, и старорежимное руководство в лице урядника, старшины и писаря безропотно сложило полномочия, давно утратившие силу. Разными эсерами, кадетами или большевиками еще не припахивало, складывалось естественным путем, по-мирски – земство и баста! Дальнейшие заморочки начались позже, когда в село с немецкого фронта, насмотревшись в дороге на революционные передряги, воротилось десятка два раненых солдат, а Омск снова заняли с помощью чешских штыков казачьи части.

Всякая жизнь нуждается в строгом порядке, а какой может быть порядок в обществе, где всякий моральный урод, имеющий наган, двух-трех единомышленников и луженую плотку, способен в одночасье стать полководцем и атаманом?

Ну, а когда у одних мелется и сытно жуется, а у других только слюнки текут...

Пролетарское сознание, направленное в нужное русло, – штука тонкая, не всякому поддается на громкое слово, но если сказано внятно и недвусмысленно, кого грабить и ссылать, под каким предлогом, рождает массовое руководство к действию, сначала для одних активно-голодных, а там и другие пристроятся. Пережив тяжелую зиму, расширив погост за счет умерших близких, безземельные объединились в товарищества по совместной обработке земли и комитеты бедноты, началась яростная борьба за выживание. К весне девятнадцатого в Круглово, разделившейся на несколько самостоятельных вотчин, сформировалось два комитета и товарищество. С началом посевной объявили о создании первого колхоза.

Принято считать, что незаменимых людей нет, но после скоропостижной смерти старого учителя Фоменкова Сергея Зиновьевича в одночасье перестал существовать скромный школьный музей, и как Андриан, став руководителем отделения, ни пытался возродить его существование, не получилось. С той поры никто уже не рассказывает ребятишкам ни про медвежатника Агафона с друзьями, основавшими деревню в безвестной уреме, ни про другие деревенские тайны, словно и не было ничего любопытного, и все на этой земле совершается само по себе, без усилий и озарения.

Нашелся было человек мастеровой, Касьян Жудель, на которого Андриан строил большие расчеты, мужик деревне чужой, непонятно как прибившийся в послевоенное лихолетье, кинул клич на преобразование, неожиданно понравившийся многим, с всякими ухищрениями со столбами и проводом, переделал на электрическую тягу. Полегчавшее колесо вновь закрутилось, залопатило на холостых оборотах загустевшую воду, и по вечерам его мягкий шепот, свет ярких лампочек, гирляндой развешанных чудаковатым Касьяном на плотине, снова стал притягивать парочки, вздыхавшие ночи напролет, но и Касьян уже охладел к перспективной деревне, косит глазом на сторону.

Среди мужиков его почему-то не оказалось, неожиданно расстроив управляющего.

Время, как снежный заряд, ударивший в стену, сбilo с критической мысли, напомнив, как они добивались вхождения в совхоз, доказывая, что колхозом уже не поднимутся. Его гвардейского старшего лейтенанта при внушительных наградах районная власть уважала, что-то сработала, они оказалась в совхозе.

3

Ему не было еще тридцати – широкоплечий, толстоногий коренник, комиссованный после тяжелой контузии и глуховатый на правое ухо, в самом расцвете, не сгоревший в боях на Курской дуге, упрямый и своевольный с рождения. До войны все с ним было нормально, полный сил, надежды, желаний, рвал из себя жилы и терпеливо ждал перемен, обещанных

лихими пропагандистами. Тем более что в вопросах коллективизации и обобществления земель решительно разошелся с отцом и в числе первых со своим паем вступил в колхоз.

Родитель держался долго, но, как говорится, против лома нет приема, в конце концов, оказался раскулаченным, высланным на вечное поселение в верховья Енисея, и больше свидеться не довелось.

Известие о смерти отца, настигшее парня окольным путем, легло на сердце первым рубцом.

Попытавшись разузнать, что стало с матерью, получил суровую отповедь: не дело молодому перспективному коммунисту сочувствовать врагам трудового народа. На попытку объяснить, что малограмотная женщина-домохозяйка никак не может быть врагом народа, к тому же она его мать, снова получил резкую отповедь: «У настоящего коммуниста одна мать – революция».

Война открыла глаза на многое, все они, бывшие солдаты отечества, надеялись на перемены, но, приехав домой, увидели нищету, всеобщий упадок и прихлебателей, примазавшихся к общественной собственности, которых в довоенную пору было как-то поменьше. А тут и с регалиями и прочим где-то заслуженным, едва не при звездах, а войны нюхом не нюхивали. После вхождения в совхоз, назначенный управляющим отделения, не щадил ни себя, ни жену, ни односельчан, а жизнь не улучшалась: вон за окном к речке сбегает, можно сказать, последняя улка некогда крупной деревни...

Коллективизацию Андриан принял сразу – гуртом и батьку бить легче, на том и стоит по нынешний день. Только гурт или стадо всегда под рукой, гуртоправы находятся, а коровки молочка никак не дают. Через газету-собрание, понятно и объяснимо под дружное зевание, кто виноват и что делать, противники виделись под каждым кустом и непременно врагами, не желающими улучшения деревенской жизни, выпирая таким сине-вздувшимся чирьем, подлежащим насильственному искоренению, что в дрожь бросает. И верилось ведь – агитация штука сверхтонкая, так задевает, удивляя, что родитель упрямо не считался с общими устремлениями, отстаивая патриархальное мелкособственническое, упрямо твердя, что односельчане верят демагогам, не понимая, что лучше работы в поте лица на себя не было и не будет. Андриан сердился, отца не понимал. Ему было не важно, кто как работает: добросовестно, до изнеможения или лодыря любит гонять. Не важно пока, на первых порах, ко всему надо привыкнуть. Важно, что вместе и в горе, и в радости, где ближний всегда протянет руку ближнему. Да и метод воздействия на умы пришелся по нраву – ну ведь надо же как-то мозги прочищать друг другу! Вон до чего доходит, когда муж остается один на один с женой или наоборот? Как не вмешаться, хотя и вмешиваться – не выход, подтверждений на каждом шагу. Оно всех под один шаблон не выстроишь, а хочется. По себе знает. А как направлять поголовно в нужное русло, когда с этим «нужное» так же толком не увязывается, и система единства трещит по швам. Трещит, не выдерживает единого русла, а «нужное» вдруг таким фитилем выпирает, что не знаешь, куда глаза девать от стыда за прежние «руководящие и направляющие» действия...

Нет, в вопросах коллективного ведения хозяйства, что бы там ни балаболили и не чесали, он однозначно на стороне общества и уверен, что это единственная проверенная веками прогрессивная система народоправства без всяких централизованных надстроек, изощренно называемых демократическими, если дать ей полную возможность жить по самостоятельным внутренним законам и не мешать излишними указивками да подгонялками. Все должно решаться на месте, внизу, не вверху, и решаться людьми, объединившимися в ячейку, подобно монастырской общине, выше которой за объездной дорогой Бога не будет. Живет же братия без ссор и вражды, и в трудах праведных и в поведении примерна, почему бы обычной сельской артели так не зажить? Вот кто должен решать – нужна им деревня или не нужна – сами, без районных директив и разнарядок, иначе рушится основополагающий смысл...

«Место нашего рождения и место смерти – в этом, знаешь ли, мил человек, тоже отдельная магическая тайна или Божье предопределение», – вяло рассуждал Андриан Изотович, сизмальства отученный верить в этого самого Бога.

Что его волновало в первую очередь, с чем был не согласен в надвигавшемся, так вот с разгону и мужицким душевным разворотом ответить не удавалось. И прежняя жизнь – не праздник, в надрыве и страхе, что вечно кому-то должен, хотя ничего не занимал, и новая – на гульбище не похожа. Дорожку – ее широкой да гладкой пробить тяжело, а соломкой для праздничка притрусить – всякий сумеет. И нужно вроде бы что-то делать, сильно уж подзахирили некоторые поселения-веси вокруг, так и не поднявшиеся после военного лихолетья, но и сселением с переселением радости не добавишь. Не на этом жизнь должна строиться – вона дошло до чего, рожать уже перестали, за ненадобностью школы начали закрываться.

Утомленное сердце Андриана, насколько-то успев перегореть болью неизбежной утраты, продолжало тупо ныть и продолжало невольно волноваться. Появлялось странное желание пожалеть его, как хотелось пожалеть надломившийся клен за окном, взгорок на спуске к речушке, почерневшие от ветров и невзгод покосившиеся избенки, ни разу не обновлявшиеся со дня возведения. Чувство сострадания к дереву и самому себе вкупе с захудалой деревней росло, и он тяжелым шагом вернулся за стол, откинувшись привычно на бревенчатую стену, словно забылся навсегда.

Что видел и слышал он этим часом угрюмый, нахохлившийся человек, рожденный неподатливой угрюмой землей лишь для того, чтобы пахать и сеять?

И нигде попало, а пахать и сеять в единственной деревне на всем белом свете, в родном Круглово, ставшего непонятной Маевкой с полусотней домишек, из-за чего насмерть рассорился когда-то с отцом.

4

...Деревни невольно похожи непосредственно на тех, кто в ней живет, как собака на хозяина. У каждой своя статья и свой гонор, привычки и обычаи. И слава в ближайшей округе соответствующая. Одни берут близостью к промышленным центрам, удобным месторасположением. Другие – рекой, благодатной пашней, хорошим садом-огородом. Третьи, как древняя Круглово, зареченской частью переименованная в Маевку, проросшие бурьяном в стороне от большаков, давно никому не нужная, кроме прописанных в ней, – привычкой и надеждой на будущее. Затерявшееся в приобских лесах в годы Гражданской войны многолюдное село привлекало хлебосольно лихие партизанские отряды, легко поддавшись горячей большевистской агитации насчет близких светлых перемен, сверкали на его широких улицах злые колчаковские сабельки, наполняли иноземным говором белочехи. Одни уходили, оставляя неизбежное горе, другие приходили на время и тоже гнули свое. Верх оказался за красными, и не трудно понять почему, труднее признать, что, так или иначе, к этому причастен каждый, оказавшийся, в конце концов, околпаченным, безвластным и еще более закабаленным.

Власть – мать ее! Народная и разнародная! Много ее у сопатого народа, на веки вечные поставленного перед лицом новой революционной действительности только по стойке смирно? Не ты решаешь, а за тебя, позволяя, поупрямившись, подчиниться. И вершат, управляют, отдают команды от имени затурканного народа, среди которого его, Андриана, давно уже нет, и где он сейчас, никто не подскажет.

Но в деревне, в деревне – уж точно – отрядившей на фронт в Великую Отечественную почти полтыщи крепких мужиков, из которых вернулось немногим более тридцати. В деревне, где ж ему быть, вечному хлебоборбу без высшего образования?

И ничего у него больше нет, кроме опустевших заросших проулков, мелеющей речки, полей и околков, называемых колками. Ни-че-го, и бывшего надела родителей из царских времен!.. Давно уж канула в Лету славная пора обильных воскресных базаров и шумных гуляний, мало кто помнит и прославившего деревню рысака Атланта, лет пять подряд бравшего подряд все призы на районных соревнованиях, потеряла значение осевшая на угол мельница – главная достопримечательность бывшей купеческой Зудиловки. Что молоть-то теперь? Частной собственности нет, умер колхоз, где «натуру» выдавали. В совхозе общественная пекарня, без мельницы проживем.

Грусть Андриана Изотовича ощутимее, тоска неизбывней.

Сын кондового сибиряка Изота Грызлова, сумевшего за годы и годы трудом и упрямством создать в сибирской глуши крепкое хозяйство, был в семье самым старшим. Но по следам отца не пошел, за отцовскую собственность держаться не стал, призывая к этому и родителей. Не получилось, взглядами не сошлись. Жизнь отца с матерью закончилась в русле крутого времени: не с нами, значит, враг. Оставшись один, Андриан не потерялся, в числе первых в деревне выучился на механизатора, бригадирствовал. Немного повоевал в артиллерии и, комиссованный по тяжелой контузии, остался глух на правое ухо. Возвращаясь, был полон сил и веры в светлое будущее, но оно где-то задерживалось и не наступало, наваливались досада и одурачивающее недоумение от распоряжений, которые он должен срочно претворять в жизнь, заранее зная, что толку и пользы не будет.

Не глядеть бы, не слышать...

Жизнь свою Грызлов не умел разделять на какие-то периоды: вот, до войны было так, нынче – иначе, в парнях мечтал о хромовых сапогах и кожаной куртке, трижды устроив ссору прижимистому отцу, став управляющим отделения, бился не менее яростно за первый зерноуборочный комбайн – она у него была одна, не приносящая удовлетворения. Уродился, что ли, горбатым таким, под какой каток ни бросают, а выровнять не удастся? Так в деревне вообще ровных и правильных нет, за исключением усохших представителей былой разверстки Паршука и пимоката Егорши, каждому из которых удалось в свое время послужить в должности секретаря сельсовета, настроичить по десятку доносов, между прочим, совсем не со зла, а из убеждений – и такое с человеком случается.. Эти – да-аа, поверхово-дили всласть, начальство строили из себя среди баб вровень с Богом, один в красных штанах мельтешил, пугая ребятню, другой... с пустой кобурой на боку! Перед властью во фронт и под козырек, в каком бы облики она ни представала. Без рассуждений! Послужили отечеству, по десятку доносов на каждом, не считая отца – сам держал в руках обличительную писульку, не стоящую выеденного яйца...

Черт знает, как получается! Сколь ни колотись и ни доказывай, что черное и белое – все ж разное, а как путали хитрецы-мудрованы одно с другим, кому как удобней, и путают по сегодняшний день, сбивая других с панталыку. Как закладывали друг друга, так и закладывают, тем ли, другим, испытывая при этом щенячий восторг. Грехов на каждом, и не отмоленных, а где – ни единой церквушки на весь район.

Мысль о церкви возникла не впервой, Андриан Изотович вяло пошевелился, снова отстраняясь от нее, явившейся не ко времени.

День заканчивался скучно. Пришла жена Костюка, невзрачная худенькая бабенка, в драном самовязанном шерстяном платке, перепуганная утренним происшествием с арестом мужа, толком ничего не понимающая, лишь, догадывающаяся, что случилось страшнее страшное что может случиться, весь день боявшаяся показаться на людях и не отпускавшая от себя двух дочек дошкольного возраста. Присела на краешек лавки у двери: ни ей никто ни слова, ни она никому.

Долго сидела, вздохнув тяжело, поднялась:

– Так я пойду, Андриан Изотович?

– Бабы, ну что же вы!.. Иди, Фаина. Я был в районе... Будут новости, сообщу... Передачу там собери, в ихнем отстойнике холодно.

Окинув усталым взглядом баб и мужиков, Андриан Изотович потянулся к бумагам, смахнуть в стол, но в кабинет ворвался уезжавший с утра на центральную усадьбу скирдоправ Данилка Пашкин.

Тоже фрукт под морковным маринадом! Еще только дверь плечом напирает, а псих впереди на полсажени; горлопан и пьянчужка, а скирду лучше никто не поставит.

Предчувствуя новый взрыв буйной натуры Пашкина, управляющий чуток поднапрягся – тоже фигура, как выдаст сдуру, самому потом не отмыться, хоть сразу сдавай в КГБ.

Выбросив упреждающе руку в сторону толстоватенькой Нюрки-уборщицы, похожей на маковый цвет, оказавшейся на пути, готовый смахнуть к чертям собачьим, если вовремя не увернется и не ужмет излишнюю требуху, поранено взревел:

– Брысь с дороги, корова брюхастая, загородила весь свет.

В снегу Данилка, в соломе. Осыпан и вывален. Дик. Нюрка вжалась в нишу за круглой печью, пропустила его. Грузными шагами растоптанных и подшитых валенок одолев расстояние до стола управляющего, бросив на стол сумку письменосца, набитую газетами, рыкнул издыхающим зверем:

– Ну вот и отмучились, и его больше нет! Хоть слушали радио?

– Отчего ты отмучился, калоша без стелек? Ты откуда такой? – Взгляд управляющего подозрительно насторожен.

– Да мать тебя в душу, слышали или не слышали? Сталин же, Андрианка...

– Вот баламут! Что тебе Сталин, во сне что ли приснился?

– Уже не приснится. Умер еще позавчера, а сообщили сегодня.

– Ста... Боже ты мой, мели да знай меру! – схватила за горло Таисия.

Мор может лишь так придавить, но Нюрка на подхвате с хорошим: Васька Симаков пришепал из совхозной больницы – Варька сына родила.

– Васька как шалый пехом припер! Сын у твоей помощницы Варюхи, Таисия!

Глава вторая

1

Траур по Сталину катился с какой-то опаской, хотя из мертвых уже не встают, но мало ли как при нашей власти безбожной, тут затылок почешешь, прежде чем лишнее ляпнуть.

Радио осмелело, вернувшись от лозунгов к нормальной словесной тарабарщине с весенними проблемами. Приходили мужики и бабы, что-то требовали, и Андриан что-то решал, раздавая необходимые команды и распоряжения, радуясь, что про Маевку будто забыли и время от времени улетаая куда-то в долгие странствия воображаемого счастья – лишь бы подольше не вспоминали. Подписывал бумаги, с которыми явился, как всегда, в синих нарукавниках и сдвинутых на лоб стареньких круглых очках жилистый и длинноногий как жердь бухгалтер Задойных, тут же садившийся к настенному телефону на батарееках, с ручкой-вертушкой и передавший необходимые сведения в совхозную бухгалтерию. Под возникающие вопросы принимающего информацию о надоях, вывозке навоза, тракторном снегозадержании, изготовлении и выставлении щитов на полях, временами его раздерганные мысли обретали вдруг всеобъемлющий покой, начинало казаться, что ничего сверхъестественного не происходит, совершается закономерное и неизбежное в обычном трудовом усилии, все заняты и при нужном ответственном деле, без которого жизнь пуста и бессмысленна. Затаенные размышления, что теперь уже точно скоро станет значительно легче, закончились очередной вздрючкой за понизившиеся надои, март перешел в апрель, скатился незаметно на май, а там уж так закрутилось, грянув целинной эпопеей, взорвавшей страну новым задором, что мать с отцом некогда было вспомнить.

Начинался сенокос, затахтели конные лобогрейки с мотовилами и тракторные сенокосилки с двухметровой косой из отдельных сверкающих сегментов, забрякали, мельтеша спицами, конные грабельки, управляемые подростками с железных сидухек.

Матвей Решетников позвонил во второй половине дня:

– Случай подвернулся с нашей общей бедой, заberi своего трахомного помбригадира.. Этот, Костюк, что ли? Ха-ха, настоящий трахомник, а я не поверил!.. И деда-писателя своего не лишне бы прихватить, беспокойства от него много, а новая линия подобного не принимает.

– У меня другие заботы, Матвей, я с такой публикой не умею.

– Так тебе же в помощь, прекращать надо такую активность, но с разъяснениями... А что там у тебя за чудик Касьян Жудель?

– Да, е-разное, недавно вот вспоминал, тут у меня целая революция на ниве культуры, завернешь проездом, покажу! – начал было Андриан излишне восторженно, мгновенно спохватившись, что вопрос Решетникова таит нечто другое, и словно бы испугался: – А ты это к чему Матвей Александрович, что за пчелка куснула?

– Интерес появился.

– Твой интерес как-то, знаешь ли... Как-то не очень, Матвей Александрович!

– И все же?

– Дак электрика принял полгода уж. Между прочим толковый. деревне лишним не будет.

– Толковый, но подрывает социалистическую экономику, провода-дефицит пускает не по назначению. Столбы на какую-то дамбу растаскивает с тока. Ты куда смотришь, на пару с Жуделем захотел?

– Матвей, да что за хреновина, это откуда у тебя черте что! Матвей! Да старая мельничная плотна, ты же ее знаешь! Дорога на кладбище за увалом и ветлы в три обхвата, разные шуры-муры для парочек! Вот Касьян предложил осветить.

– А ты?

– А я... Ни вашим и не нашим, но душою не против.

– Разбазаривать совхозное имущество – ты понимаешь, чем пахнет, если поглубже копнут? Пока – на Касьяна, потом – на тебя. Уловил, гвардеец?

– Так А Жудель? Касьян?

Телефон уже отключился, самому набрать, он хоть и друг, но из органов, не к теще сходить на блины...

– Нюрка! Нюрка, в душу твою! Фаину срочно, я бы не развозил...

– Ково развозить, Андриан Изотович? Позвать конюха?

– День вчерашний! Вожжи в руки и за мужем пусть шпарит, пока живой.

– Андрюху отпустили? Ни в чем не виноват?

– Ты тут ляшками не сучи и пляски мне не устраивай, задергалась! Не виноват, так станет виноватым, у нас раз чихнуть. Откуда я знаю что и к чему, меня особо не просвещают! Дуй, давай во весь мах, пока там другая шлея под хвост не попала, и Файке – на всех оборотах в район. Понятно, коза?

Девчонка еще, но в исполнительности с Нюркой трудно сравниться, че бы это бежать на край деревни, когда конюшня в сотне шагов, в плетенку-ходочек и к Фаине. Фаине объяснить не приходится, завывла бабенка, вожжи перехватила и стоя в коробушке, словно циркачка...

2

А на следующий день мужика уже хоронили, слабым оказался в противостоянии с жестокой машиной российской справедливости, которую не просто пройти и остаться нормальным, перековка что надо, сердце сдало или что-то другое, кому особенно разбираться. Вернулись в сумерках, Андрюха был перепуган как осиновый лист, в объяснения не вступал, а Фаина не лезла особенно, довольная, что муж живой и здоровый пробыл три месяца совсем не на курорте, и какой-то пожомканый, как добросовестно постирав, рубцом прокатали. Ну, дома, отойдет, оно и в обычной жизни не лучше, девчушки вон липнут, папаня да папаня. Отмякнет. Суется с небогатым застольем, сама на минутку присядет да молчком посидит – деревня во всем проста и обычна, в массе своей особые карусели не крутит, умничаньем да политиканством не перед кем выставляться, живу бы быть. Собственной власти во все времена русский мужик или баба нужны лишь как средство производства. Особенно современной советской. Тут уж продумано будь-будь, контроль и контроль! Ты фрукт социалистической собственности, со всеми вытекающими. Как сознательная трудовая единица, закладывающаяся своей производительностью в пятилетние планы с нормой выработкой на каждый день, с трудоднями или выходами, являющимися фактом исполнения святой ежедневной повинности. А палочки нет в нужной графе – нет исполнения, грубейший трудовой беспорядок, чего при социализме быть не должно, и уже вступают в действие другие механизмы управления и воспитания для живых недобросовестных личностей.

Андрей часто и сильно прибаловал, но в добросовестности его не упрекали, наоборот, управляющий был доволен в абсолютной безотказности мужика с толковые руки, которых в деревне меньше и меньше. Ну, а Фаина, оставаясь противоположностью мужчины, но тоже с трудовыми возможностями, добывала известность на ниве животноводства, приставленная к группе в два десятка коров, трижды в день каждую освобождая от молока-молочка, не забывая обмыть перед дойкой, облепленную говешками, сена в кормушки натереть

утром и вечером, в рыштаке почистить. Работа, конечно, не мед и даже не сахарная, но ведь нужная державе, трудовому рабочему люду, и почетная. Очень почетная за рубль с копейками за день. Но роптаний – ни-ни, за полвека кохозно-совхозного трудового ярма нигде и ни разу...

Картошки хватало, курицы во дворе кокотали, и на ужин Фаина нажарила глубокую сковороду бульбочки-бульбонят с молодым запечном петушком, щедро залив яйцами. И даже стакашек настойки смородиновой поставила из тайных запасов. Андрей в рот ничего не взял, посидев истуканом с девочками, уплелся в пустую сарайку, – крестьянская жизнь с ранней весны до глубокой осени на воле – а когда Фаина, взбив постель, кинулась звать, Андрей был мертв, так и ушел бессловесно, как истлевшая свечка. Был на земле такой незавидный мужичок Андрей Костюк и не стало.

– Андрюша! Андрюша!

Безвыходно и тоскливо!

Люди, как же тоскливо провожать на тот свет безобидного человека, заметит ли кто очередную пропажу!

Андрюшка был хлипенький. Фаина под рев перепуганных девочек, загнанных на печь за занавеску, волоком перетасила его в избу, выдернув лавку из-за стола, положила мертвого мужа. В ближнем соседстве проживала бывшая бригадирша-огородница Меланья Сизова, с пониманием к житейской беде, Фаина кинулась к ней. Смерть, к сожалению, в пятилетние планы развития стране не вносится, как и в семейные, че спрашивать да расспрашивать, всем ад или рай обеспечен, да никто не знает, что боженькой лично тебе предназначено, если все же от бога и его небесных соправителей; опираясь на клюку (ноги сдавали у пожилой женщины, а то бы что с работы такой уходить) Меланья притопала, на удивление, обнесла себя нормальным крестным знаменем, сохранившемся в памяти от матери-бабки, пискляво сказала:

– Ну-к че, советская власть в Бога сама не верила и другим запрещала, дак Андрейка причем? Главный-то кровосос и главный безбожник успокоился, земля ему пухом или где там его уложили на съедение червям, уже не достанет трубкой табашной, а другие нам не указ. Ох-хо-хо, как прожили, или вовсе не жили. Сижу теперь, перебираю в уме – и при матери ведь живала, бабкой наставлялась в уме, а далось-то што?

Выговорив по-своему необходимые соболезнования, выдала деловую команду:

– Сначала документ выправить надо, что нет больше такого поселенца в Маевке — Андрея Костюка, Это тебе прямиком в сельсовет, попутно к супостату Егорше сверни, не люблю обезьяну такую с давних времен, а гробик заказать больше не у ково. И еще перво-наперво: давай-ка, хто у нас? Христиньюшку покличь, скажи, я призываю. Авдотью-вдову с немецкой первой войны, да Евангелие спросить не забудь, помниться, у нее было, когда первого председателя хоронили. Симака-старшего помнишь, аль... ково тебе помнить, соплюхе?

– Че же не помню, хоть и малой была. Васькиного родителя хорошо помню, токо не похороны, – всхлипывала убитая горем невеликая ростом и рукастая женщина.

– Ну и ладно, беги-управляйся, а мы тут с девчончишками отца начнем прибирать. Боятесь ли чели, соплюхи? – спросила девчушек, выглядывающих из-под ситцевой занавески в цветочках, еще плохо понимающих, что происходит, принимающих отца просто уснувшим. – Бояться надо живых, которые с кобурой на боку, мертвых поздно бояться, мертвый уже не укусит... Лавку бы надо на середину выставить, прилепила к окну, и ведерный чугунок воды подогреть. Обмоем в последний раз грешной земной водичкой Анрюшу-сокола, перенесем в лучшее чистое, што у тебя есть, и на лавку.

Но единый Бог для селян – управляющий Андриан Грызлов – нещадный палач, и первый защитник, – к нему, как родному отцу или брату, ноги несут.

– Андриан! Андриан Изотович, Андрюшка мой помер!

– Ты че это, баба! – Такому поверить...

Прежде, чем отдать нужные распоряжение в помощь зареванной и плохо соображающей бабенке, Андриан схватился за телефон. Не скоро, но дозвонился, злобно бросив:

– Похоже, хорошо вы там поработали, Матвей Александрович! Замечательно! Списывай с учета врагов народа Андрюху Костюка, нет больше Андрюхи, как вредителя.

Выбежал, злой и кипящий, столкнувшись с навалившимися на перильца крылечка Данилкой Пашкиным и Трофимом Бубновым:

– Мужики, похороны у нас, могила нужна.

Согласие у таких получить – легче съесть пуд соли, но Василий Симаков вывернулся из-за угла.

– Ты к Симакову, управляющий. У него трактор с набором навесных для рытья канав и свеженький стогометатель. – Пашкин – хитрец изворотливый, когда не хочет какой-то работы, – тут же к Василию: – Васюха, с сыном тебя – я так ни разу еще не поздравил, а ты ни разу меня не пригласил. Варюха-то как, уже у Таисии в телятнике?

– Ну там обсудите. – оборвал управляющий. – Давай на кладбище, Пашкин. Под твою сознательную ответственность. – И закричал вслед убегающей Костюхихе: – Фаина, Фаина! Пашкину доверяешь где там и что, или сама поедешь выбирать? Да к Наталье на склад загляни, скажи, я мяса-голову выписать разрешаю!

Пригнав «Беларусь» с навесным ковшом с могилкой управились быстро: день оставался мирно-уютный, располагал к широкому рассуждению о вечном.

– Мертвые сраму не имут, – заглядывая в пустую могилку Андрюхе, сбалагурил Данилка и вынул из потайного карманчика под ремнем смятую трешку. – Не по-людски как-то, мужики. Тебе туда и обратно, Васюха, как два пальца обмочить.

– Заодно и сына обмоем – кто он там у тебя, какой такой шиш, – подсказал Бубнов Трофим.

Должно быть кладбищенская благодать наводит на мирское благодушное расслабление, Данилка умилялся:

– Отстал ты, Васюха, от меня и Трофима, придется наверстывать, то деревня совсем обезлюдела, говорят, в школу на это год не больше дюжины на четыре класса.

– Поставил задачу! – оживился Трофим. – С Варюхой он враз, Варюха не токо вкалывать на совхоз и в остальном, баба, што надо.

– Настя Зырянова, заметно в охотке, ты, гусь, смотри, Варюха и морду набьет.

– Испробовал на себе? – хохочет Бубнов.

– Испробовал, не испробовал, а знаю.

– Ага! Понятно, если с гарантией, – не сдается Трофим.

– А ведь, Андриан помогал! – напряжился вдруг Данилка.

– Кому?

– Андрюхе – кому?

– В чем?

– Так ездил же к уполномоченному Решетникову?

– Точно, ездил... Помог, называется?

У благодушествующего Данилки свой размах:

– Ну, в органах, знаешь, у них свой порядок, с выводами не стоит. У Андриана... Знать вышло.

– Тебя бы туда на сутки-другие, с применением, так сказать, мер вразумления! – возражает Бубнов, закладывая широкую платформу животрепещущего противостояния, азартно разворачиваемой Пашкиным, как у них чаще всего происходит, немедленно, как пожар, вступающих в противоречия.

– Извините подвиньтесь, факт пока не доказанный? – Возражает Данилка, словно на минуту-другую обезоруженный дальновидным спорщиком-другом

– А культ личности? – явно перехватывая инициативу, нажимает Бубнов.

– Знаешь ли, початок кукурузный, Сталин для меня всегда Сталин, я одного на другое не меняю так вот враз. А твой пузатый самопуп в рубаше с кушаком на Сталина, на деревню всей толстой жопой уселся. Тебе это надо? – решительно рубит, не желая уступать, и гневно ревет Пашкин вроде бы в защиту вождя народов, готовый в удобный момент пересмотреть невыгодную позицию...

3

Заглянув к бухгалтеру, Андриан отдал распоряжение выписать на Фаину пять килограммов мяса и телячьей полголовы на холодец и через заведующую током Наталью Дружнину и складского весовщика Федора Каурова отправить Фаине.

– Проследи, Семен Семенович, поможем, чем можно.

– Головы кончилась, последнюю половину Кауров забрал.

– Ну, а ей?

– На холодец?

– Ну не заливное с морковкой!

– Кости есть мозговые для сторожевых собак!

– Выписывай, сама пусть решает.

Обмывали Андрея Меланья-огородница, Христина и Авдотья-вдова, Фаина была, словно закаменевшая, уже не плакала, только стонала.

– Одевать-то во что, очнись-ка, Фаина, маленько костями пошевелись, што за фигуру тут корчишь, – заскрипела Меланья.

Избенка была неказистая, перегороденная на две неравные части: горенку и прихожую с русской печью и пристроенной печечкой-плитой. Открыв старый бабкин сундук, Фаины вынула чистые мужнины кальсоны с длинными завязками на два оборота, нательную рубаху с длинными простыми руками и праздничную рубаху-вышиванку из каких-то дальних времен, которую на Андрее видели только по большим праздникам.

Заглянули Таисия и Варвара с ребенком в руках.

– Я с Варварой, бабы! Помощь нужна?

– Варька-то! А ну покажи, што те Васька сварганил, – полезла бесцеремонно Меланья, поднимая с детского личика угол простынки. – И-ии, как мы нонче! Осталось вырасти да трудовую закалку пройти! Да за Васькой следи, подружек умеи выбрать.

– О ком ты, бабуля?

– О Настьке, о ком, Пока ты рожала, девка кругами вокруг – только слепому было не видно.

– Мужиков-то чем накормить – оравой припрут? – подала грубый голос Авдотья-вдова.

– Выпивки не давай и закуски не потребуется, – подсказала Таисия.

Похоронили Андрюху под вечер, набились в избенку с низким потолком. Похоронное застолье взяла на себя Таисия, усадив по бокам Фроську с Меланьей.

Но самогона нашлось всего несколько бутылок, пользовались старой брагой, заготовленной Фаиной еще до ареста мужа, а низкоградусной настойкой разве душу зальешь, и заряжая себя, Пашкин шумел гневно:

– Ну-к че же с Андрюхой-то, Андриан? У нас уже никакой власти нет на всякое самодурство? – Зная, что может последовать и пытаясь привести Данилку в чувства, управляющий гудел:

– Ты раньше времени не расходись, не расходись и не разбрасывайся лишними словами, за которые пожалеешь потом! Ну что за мода – ляпнуть, а подумать опосля!

– Раньше времени! А когда оно, мое время придет и я, рабочая кость, сам спрос устрою? Мне че расходиться, я пока с вами, никуда не спешу, Андрюхи вот нет навсегда! Закончилась Андрюхина жисть, улетела как легкое перышко! А причины? Прочему без вскрытия? Я сразу был не согласен без вскрытия, и ты промолчал как ни в чем не бывало, – не сдавался Данилка.

– А тебе что надо найти? Тут вопрос семейный, лично жены, Фаине хватило...

– С культом покончено, а следы кругом остаются! – ревел Данилка. – Целый Пле- нум прошел, а всех трясет как паралитиков. И ты не можешь меня останавливать, когда я на взлете в своих подозрениях, а уж если ЦК сказал...

– Поговорили! При таком развороте! Закругляйтесь, бабы, пора по домам, земля пухом Андрею Костюку.

Расходились будто не с похорон, с большого собрания, рассмотревшего вопрос о зага- дочной смерти помощника бригадира тракторной бригады Андрея Костюка, лишь усилива- ющего душевную тяжесть, не найдя ни правых, ни виноватых... Как вообще в этой жизни правых почти не бывает или вовсе не те, кто хотя бы похож на правых и не бандит.

– Не по зубам Изотычу эта закавыка, – рубанул Данилка дружку Бубнову, когда они вышли в сумерках из конторы. – Отсиделся филином и ни гу-гу.

– Дак она закавыка, – отозвался неохотно Трофим, – не семечками плевать. Ты у нас вона какой башковитый, пять классов кончал, и то... – Не dokonчив обидную, должно быть, для Пашкина мысль, изрек философски: – Люди, они всегда люди, Данилка-ссыкун. Хоть баб тех же возьми.

– Ты! Ты, пентюх немытый! Не блуди, еще вечер.

– Да, ладно, где тут блудить, и ты рядом. – Остановился, встряхнул мотней, расстегнул пуговку.

Они были одногодки, вместе пошли в школу, короткие годы учебы просидели за одной партой, а дружба настоящая сложилась не сразу. Данилка всегда стремился над кем-то власт- вовать и кем-то помыкать, хотя бы кошкой или собакой, в поисках очередной жертвы необуз- данного темперамента готов был сутками носиться по деревне. Вокруг него неумолчно выло и визжало, дразнилось и передразнивалось. Трофим, как самый близкий сосед, первым испытал на себе силу Данилкиного эгоизма, и если выстоял, не поддался целиком этой дья- вольской силе, то не потому, что оказался сильнее, а скорее, что в играх и шалостях оста- вался вялым, инертным, безынициативным. Он больше наблюдал, чем вытворял, и первым надоедал Данилке.

Данилка был нетерпелив и непостоянен в привычках, голова его была вечно занята невообразимыми идеями. Не осуществив одну, он часто хватался за другую, и снова вокруг шумело, визжало, радовалось и злилось.

Но при всем при этом Трофим никогда первым не искал его расположения. Всякая раз- молвка меж ними исходила от Данилки и Данилкой прекращалась. Данилка все мог позво- лить в отношении с Трофимом: и поссориться в любую минуту, выгнав из игры на интерес- ном моменте, и помириться когда вздумается. Трофим с ним ссорился лишь однажды, что случилось накануне призыва в армию, когда Данилка, не подозревавший о тайных чувствах Трофима к Фроське Чащиной, вознамерился поиграть с нею напоследок и в хмельном угаре вечера проводов стал подбивать Трофима быть на спор свидетелем его придуманной про- щальной «игры».

Трофим, остававшийся снисходительным к прежним проделкам дружка с девушками, вдруг озлился и двинул невеликого росточком Данилку по уху:

– Лучше не тронь Фроську.

На призывном пункте их разъединили, чему они в новых обстоятельствах нисколько не противились, а потом, почти в конце войны, на которой им довелось пробыть полтора года, Трофима отыскало покаянное письмо Данилки, долго бродившее по соединениям и госпиталям и чудом не сгинувшее бесследно. Трофим обрадовался ему, как едва ли чему радовался, и когда они, оставшиеся в живых, встретились, Трофим первым шагнул к Данилке, поздравив с возвращением, сказал с чувством:

– За Фроську прости, сгоряча я.

– Дурак, это ты меня прости. Пошли сватать ее за тебя.

И засватал с первого захода, хотя Фроська за другого замуж готовилась, во всем блеске привычного авантюризма показал себя Данилка, чему Трофим снова не препятствовал.

Изба Данилки была ближе, и, как всегда в минуту сильно расстроенных чувств, Данилка потащил друга к себе. Но не в избу, а в старую банешку, которой давно не пользовались по прямому назначению.

Со второй кружки они заговорили громко. Вернее, говорил Данилка. И чем сильнее пьянел, громче возмущался:

– Не имеют права! Стоять на своем и никаких! Наша партия за мужика и деревню, если кто-то был против.

– Ты это, Где голова не шибко шурупит сильно не лезь. То, знаешь, оно иногда возвращается.

– Мне наплевать, мне... Тридцать седьмой уже не вернется, щас в дурдом стало легче попасть.

Фроська принесла закуски, и снова, похрумкав сочной капусткой, Данилка разорался во всю плотку:

– Политики, мать вашу! Иссучились на своей паскудной жиже о культе, живете, как из подполья одним глазом, а я своих убеждений не меняю. Каким родился, таким здесь и окочурюсь. Стоять! Ни с места! Нет у них прав, если мы не согласные.

– Кабы все, – вяло и сонно возражал Трофим, заметно утомившись Данилкой, – а то уезжают.

– Задерживать, которые нужны. Которые полезны для земли и деревни – задерживать, мы здесь зачем... Изотыч не схочет, я сам решусь. Как грохну.

Вскидывал кулачище, бухал о полук.

4

Каждое серьезное событие государственного значения, хочешь или не хочешь, оставляет свой след в деревенской жизни. Берии не стало в июле, родив очередной ажиотаж и ощутимую перестановку районных работников в соответствующих органах. Настолько решительную, что всегда закрытый и почти недоступный старший уполномоченный Матвей Решетникова ворчливо пояснял заглянувшему на минутку Андриану:

– Все вверх тормашками, такого ожидать, Андриан – почти на две трети подчистили! На некоторых дела заводят! Уже органы пришла пора защищать!

– Неправильно, оговор доблестных стражей порядка? Ты сам не возмущался недавно, что все нормы нарушены? – не без ехидства спросил Андриан.

– Так не с органов надо, а кто принуждал эти органы. Чистка нужны, но под кого и какую систему? Мне сейчас поступит команда тебя под арест, и что, не исполнять? С Ежовым, нашим железным наркомом, разве не так, чему удивляться? Его сначала выбрали, потом сделали кровавым карликом, а он с тремя классами, в отличии от Дзержинского и настоящего интеллектуала Менжинского с десятком языков. Полный невежда и пьяница, в Красной армии подвизался в писарях, и строчил кривыми буквами наверх липовые доносы. Никто

не знал или не хотели? И Ягода был образованным, не чета кое-кому, особенно местным выскочкам, а этого как в насмешку. Три месяца назад секретарей райкомов-обкомов запросто ставили к стенке. Помнишь нашего два года назад? А последнего предисполкома, за которого ты тоже лез слово в защиту сказать. Ты вот лез и подставлялся: «Я с ним два года из одного котелка», а другие из ближних... Сейчас как зайцы, прощение вымаливают. Откуда они? Ишь, смелые нашлись! Сталин сам подбирал, присматривался и другим советы давал, молчали, небось как мыши. По нисходящей. Только и нашелся: «А вы где были?» Да вместе мы были, умывали страну бабьими слезами... Кулыт – громко, но появись другой вождь с твердой рукой и замашками деспота, не выскочат новые Берии? Да вмиг, сколь хочешь. А кто останавливал – одни поощрения. А до нашего, что никто ничего не понимал, между небом и землей болтались на ниточке? Спрос один: у вас что там, тишь — благодать, враг, он не дремлет! И косили врага.

– Как моего помощника тракторной бригады, – пробурчал Андриан.

– Да не было там ничего, о чем ты подумал. Не было, я хорошо проверял, когда ты сообщил. Скорее, нервы сдали – три месяца на нарах при нашей баланде...

– Ни правых, ни виноватых, только праведные!

– Теперь виноватые все, но верить хочу! Верить, что прежнему не бывать. Хотя бы анонимки-доносы отойдут навсегда. Но если новый что-то закрутит!

– Народ пока с пониманием!

– Волна! Бархатная волна – это тоже политическая наука волну создавать! Дурной наш народ! Вернее, затурканный в генном начала и как ванька-встанька, что страшнее всего. Из рабства мы, Андриан, по жилам все рабское и, готовы любого, кто доброе слово скажет в защиту, на небеса вознести.

– Тезисы – как десять заповедей! – ворчит Андриан рассчитывая на другой и более откровенный разговор.

– Так слово – не дело, наше слово – пустышка. Знаешь какой анекдот ходил во время запрета про Сталина? «Товарищ Сталин – великий химик. Он из любого выдающегося государственного деятеля может сделать гавно, а из любого говна – выдающегося государственного деятеля».

Серьезного Решетников не сообщал, беспокоясь своим; намереваясь уходить, Андриан вяло спросил:

– Повышение не светит?

– Боюсь и пока не соглашаюсь! Особенно пугает массовая реабилитация, которая набирает обороты в закрытом масштабе. Политических – ладно! Но каких? Под гребенку? Есть такие бандюги с прошлым, но – политические и ушлые на всякое... И к чему приведет, кто-нибудь думает?

– Матвей, не в службу, в дружбу... Про мать я кое-что нашел, помогли добрые люди, но и отца ведь здесь закрывали... Не уж никаких следов?

– Пленум скоро, – неопределенно сказал Решетников.

– И что? – насторожился Андриан.

– Услышишь! Целина! Крутой перелом!

Разгадки вскользь брошенному Решетниковым долго ждать не пришлось, долгоиграющая целинная эпопея, закрутилась в сентябре пленумом о развитии сельского хозяйства и новом, еще более массовом и энергичном укрупнении колхозов, заставив заново екнуть встревоженное сердчишко маевских трудников. Главная причина неприятия Маевки как отделения совхоза, являлось ее территориальное положение. Из восьми существующих деревенок, составляющих совхоз, две были переданы другому, нарезанному по соседству с крупной перспективу в освоении целины, четыре отделения, расположенные по периметру хозяйства и первое, как бы центральное, в самом центре, вполне успешно справлялись с зада-

чей хозяйственного управления земельной территорией, а Маевка, оказавшаяся в непосредственной близости к первому отделению, удачно вписавшемуся в центральную усадьбу, действительно, оказывалась как бы лишней и земли ее безболезненно делились между другими. Единственным и очень важным преимуществом ее оставались два просторных каменных складских помещения, используемых для предпосевной обработки семян и зимнего хранения для большей части совхоза.

Пришел новый март, когда первый эшелон целинников из Москвы прибыл на украшенный флагами и транспарантами вокзал в Барнауле, где состоялась торжественная встреча молодых патриотов и уже, дня через четыре первая группа преобразователей Кулундинской степи оказалась в Круглово. Для совхоза по разнарядке первой волны предназначалось немногим больше двадцати добровольцев. От железнодорожной станции до совхоза добиралось часа три с остановками, едва не под каждой придорожной березой: городским была любопытна пейзажная сибирская экзотика после трамвайных путей и городского асфальта, деревенским экзотами являлась сами москвичи-горожане. Это сошлись два разительно разных мира, если уж и не совсем цивилизованного с одной стороны, но достаточно познавшего цивилизации, слышавшего недавно вой бомб над своей головой, и другого, будто бы странно-неестественного и болезненно-чуждого.

На центральной усадьбе совхоза, прибывших встречали жиденьким оркестром из трех инструментов, разместили в интернате для школьников из других отделений. Разнарядка на трактора еще не поступила, но курсы начали действовать через несколько дней. Маевке вроде бы ничего не светило, исполняющий обязанности директора так и сказал, ты, мол, зачем тут толкаешься Андриан Изотович, с Маевкой вопрос разрешился окончательно, подерживать больше некому, приходилось возвращаться не солоно хлебавши.

Дело закручивалось круто и бескомпромиссно, никакими складам никого уже не уломать, бухгалтеру Задойных позвонили из центральной бухгалтерии, потребовав срочно с отчетом, прямо сообщив, чтобы оформлялся не пенсию.

Рядом крутилась уборщица, новость мгновенно разлеталась по Маевке, и пока Андриан Изотович возвращался с замирающим сердце и словно прощался с набегавшими полями, контора снова была переполнена бабами и мужиками.

Передав Воронка конюху, Андриан поднимался по знакомым каждой щербинкой ступенькам, когда его обогнал встрепаанный Данилка, и заорал во всю глотку, опережая управляющего:

– Не верили! Не сурьезно! А они весны не хотят дожидаться, как мне стало известно. Целинников-москвичей захотелось посмотреть, а мне – манатки складывать, и баста без всяких рассусоливаний. Он хоть исполняющий, Сергей Трифонович, а линию держит, вонючий говнюк! Ха-ха, Изотыч, мать твою поперек, если вдоль не берут! Давай, как цыгане, всем маевским гамузом куда глаза глядят. Вон староверы, говорят, когда в России стали ненужными, до Канады добрались... Хотя мне, между прочим, Колыханов у себя на первом отделении работенку непыльную предлагает.

В голос охнули заглянувшие по дороге домой жена Андриана Изотовича Таисия, заведующая родильным отделением фермы, и ее бессменная помощница Варвара Брыкина, в отношении которой предсказания наблюдательных старух все же сбылось минувшей осенью, работая на прицепе у Василия, соблазнила аппетитная и шустрая Настя Зырянова расслабившегося мужика, ни сном, ни духом не помышлявшего об измене. Что-то поспешно зашептала на ухо пожилой Хомутихе краснощекая Елька Камышева, прибежавшие в беспокойстве за мужьями, зашевелились полусонные мужики, взбалмошенные Нюркой и терпеливо ожидающие управляющего.

– Та-а-ак! Съездил, хмырь недожаренный, разузнал новые сплетни! – Обойдя Пашкина и усаживаясь за стол, Андриан Изотович, словно этого только дожидался, расслабив-

шись, расплылся над столом, подался вперед рыхлым телом. – И что... прокатиться схотелось до зачумелой Канады? Так я устрою без всяких заморочек и за казенный счет.

Спружинив шею, Данилка смахнул с головы помятую меховую шапчонку работы местного мастера, перекинул, скомканную, из руки в руку, оскалился, словно загнанный волк, изогнулся дурашливо, не без намека на похабщину:

– Зачумелая или какая она там, тебе видней... А если приказано!

– Ну и мотай, тебя в расчет я никогда серьезно не брал, – устало и с натуженным облегчением произнес управляющий, невероятно изумив заявлением Данилку.

– Куды-ы? Это... Это, значит... И все, больше здесь не нужен?... Не тронут – а то я для тебя на свете живу и небо копчу? – громче, визгливее вскрикнул Данилка, возвращаясь к прежней горячей мысли и словно бы оставляя без внимания обидное заявление управляющего. – Мы крепкие на ногах, войну выдержали! А нас не по ногам, нас вдоль горба. Вот поэтому. – Он пошлепал себя ладошкой по согнутой шее. – Да так вас перерастак Апраксия недоделанная! Вы спросили, хочу я этого сселения или нет? Ваську вон Симакова, Дружкиных – Наталью с Иваном, Юрку Курдюма, тебя, Хомутов, бабенок, которых чихвостишь ежедневно, как самых последних... Егоршу-старика с Паршуком, а? Вы их согласьем заручились, в душу вашу немытую с прошлого заговенья, что на замах берете? Мужики! – Он был на той грани безотчетного безумства, когда с языка слетают какие угодно слова, вскрикнул призывно и тоненько: – Мужики! Да што же оно, на самом деле-то?... В цыганы и остается, если нет мне здесь места.

– Данилка! Сглотни свою собачью слюну, Данилка! Сглотни, пока не поздно, – властно перебил его Андриан Изотович, умея и предчувствовать критическую опасность мужского буйства, и утишать властным окриком. – Дай волю таким... Ну, Пашкин, ну, распустились за последнее время. Вот оно! Ляпаешь, что в голову взбредет – до Канады уже добрался – и никакого страха.

– Я боюсь, Андриан, да удержаться нет силушки! Ну, нет же совсем, – подчиняясь начальственному окрику, вроде спуская пары, сдержанней отозвался Данилка.

– Чего? Чего ты сейчас боишься?... Запомни! Все запомните: вот это и есть всему последний конец, когда язык становится помелом! – выдохнул осуждающе Грызлов, познавший, что бывало совсем недавно за неосторожно вылетевшее слово и не однажды вступавшийся за односельчан, вызволяя из беды по собственной неводержанности. Разумеется, времена изменились, да насколько, до каких других перемен?

– Дури вашей боюсь и всегда боялся, – буркнул скирдоправ. – Управы на вас нет – некоторых начальников, и своевольничаете.

Пошевелив головой, будто подыскивая на стене место похолоднее, Андриан Изотович разом насупил мохнатые брови. Мужики, хорошо зная эту его привычку – словно удариться головой о твердое, а потом, чуть переждав боль от удара, навалиться на любого, кто первым окажется в поле зрения, неосторожным или наивным вопросом переполнит чашу его не всегда понятного гнева – вовсе притихли. Пожилой комбайнер Хомутов опустил руку на плечо Бубнова Трофима, предостерегая от нечаянной необдуманности. Но Трофим оставался мрачновато-насупленным, это был человек малоразговорчивый. Кривенько усмехался Тарзанка – электрик Васька Козин, вчерашний парубок, успевший жениться на бывшей однокласснице, вернувшейся с курсов продавцов. Тракторист Иван Дружкин, во всем чумазом и лоснящемся от машинных масел, поигрывал спичечным коробком, кидая взгляды на бухгалтера.

Семен Семенович сидел по другую сторону стола, на излюбленном месте рядом с настенным телефоном. Дотянувшись до сумки с почтой, вынул и полистал газеты. Хмыкнув, одну подsunул управляющему.

На удивление оказавшийся тут же и незаметный до этого дед Егорша похлопал безбровыми рачьими глазами, сказал нерешительно:

– Ить это, Изотыч, еслив решено наовсе... Данилка ить че-е, дрючь ты ево не дрючь! Оно ить власть, а власть наша завсе... Паршука с печи бы согнать, Паршук, он в политике шибко мастак, че уже боле... И об этом, Андриан, че я приплелся: нельзя боле наобум пахать. Снег-то с землицей суземкой уносит, сметает верхний-то слой с распаханых гнив.

Разрежая напряженную тишину, Задойных поднял глаза на управляющего:

– Так что, Андрианович Изотович, ехать мне или ехать?

– Указание ты получил, я больше никто.

– Андриан, я серьезно!

– И я не шучу, получил указание исполни.

– Выходит, всю бухгалтерию отделения на центральную? Дак актом же надо, комиссией, я так не могу.

– Ну вот Воронка моего запрягай, наваливай всю бухгалтерию и отправляйся, заждались, поди.

– Андриан!

– Все, сподвижнички-охломоены, что можно, я сделал, плетью обуха...

– Андриан, поедем вдвоем, что я один: приехать и бумаги выложить?

– Все поедем! Все, говорю... если она власть! – рычал гневно Данилка.

Глава третья

1

Представление нового директора оказалась срочно-неожиданным и скоротечным: ранним утром в совхозе появился инструктор райкома по кадровой работе, вошел бесцеремонно в кабинет исполняющего обязанности и главного агронома Усольцева, устало сказал:

– К двум часа срочно собери партактив и руководителей отделений, представлю нового директора, вчера уже поздно вечером утвержденного на бюро. Вопросы есть – вопросов нет, исполняйте.

– Но я не в курсе, мне никто не звонил! – Исполняющий обязанности Сергей Трифонович Усольцев был ошарашен.

– А я здесь зачем? На столе у тебя телефон, сам позвони, только все в краевом центре, там тоже срочный актив.

– А кто, Василий Егорович?

– С этого бы начинал – мне не звони-или! Будто малый ребенок и не разбираешься в кадровой политике: значит, не подошел, вот и не звонили, другого искали. – И громко позвал: – Вы где, Николай Федорович? Входите, входите, это ваш теперь кабинет! Здесь и ваш главный агроном Сергей Трифонович Усольцев.

– Здравствуй, Сергей Трифонович, давненько не виделись, надеюсь, еще не забыли?

Перед Усольцевым стоял бывший председатель райисполкома Кожилин, года два, если не три не вернувшийся с какого мероприятия из краевого центра.

– Николай Федорович! Николай Федорович, откуда вы? Два года ни слуху, ни духу!

– К двум часам, Сергей Трифонович! К двум часам, не забывайте! – напомнил райкомовский инструктор.

– Да, да! Минут через десять телефонограммы будут на каждом отделении, мы уложимся, – засуетился Усольцев. – Николай Федорович, разрешите воспользоваться вашим телефоном... Или нет, нет! Я из приемной.

– Действуйте по своему усмотрению, Сергей Трифонович, но есть секретарь, поручите и она выполнит. Что у вас на сегодняшний день?

– Завершаем последнее укрупнение пятого отделения и первого.

– Пятое – это что?

– Усохшая Маевка с ее задиристым управляющим. Ну никак невозможно договориться по-хорошему.

– Как по-хорошему?

– Как предусмотрено планом. Всем оставшимся жителем деревни мы предлагаем на выбор жилье на любом другом отделении и на центральной – да их осталось десятка два, но будто рогами в землю.

– Помню Андриана Грызлова. – Кожилин усмехнулся. – Как приедет, сразу ко мне. В первую очередь.

– Простите, Николай Федорович, но Грызлова мы не приглашаем, вопрос ведь закрыт, от наших предложений он отказался. Вызван только для передачи бухгалтерских документов Семен Семенович Задойных. Комиссия сейчас готовит передаточный акт.

– Задойных – бухгалтер? Задойных, Задойных!

– Из бывших нарушителей соцзаконности, – подсказал нахмурившийся Усольцев

– И с моего разрешения?..

– Да, вопрос по вашему настоянию рассматривался на открытом заседании райисполкома, но добивался Грызлов.

– Потому и рассматривался в срочном порядке, что добивался Грызлов! Секретарша на месте? Попроси соединить с Маевским отделением...

Николай Кожилин – откуда он взялся; Андриан безжалостно гнал Воронка. Придержав у коновязи, отбросив вожжи, оказался в тесненьком коридоре одноэтажной совхозной конторы, ворвавшись в приемную, остановился как перед стеной.

– Люда, там кто?

– Здравствуйте, Андриан Изотович! Заходите, вас ожидают.

– Люда, я спрашиваю, кто там?

– Новый директор совхоза Николай Федорович Кожин, которого вы должны хорошо знать.

Новый? Почему новый, а старый-то где, что происходит? Смена директора, явно выделявшего Андриана Изотовича среди других (совхоз создавался на первой волне преобразования сельского хозяйства России из семи отделений, с приличными площадями залежных земель, так и оставшиеся нераспаханными) и далеко не молодых управляющих, оказавшихся защищенными от войны специальной охранной броней, во многом поддерживающего сохранение Маевки, произошла более чем неожиданно. Директор был из старых опытных 25-тысячников, Валентин Петрович Марков, непосредственно вбивавший первый колышек под будущий совхоз, каких-то вольностей в руководстве не позволял. В Сибирь его перебрали из Ставропольского края, известного суховеями, напоминающими сибирские, понимал смысл и задачу расширения лесополос, уже начавших робкое внедрение, и работу окультуривания и облагораживания трудных Кулундинских и Барабинских просторов считал важнее необдуманного распахания и введения в оборот новых, под которые в Сибири ничего не готово, Андриан Изотови его планы поддерживал. Почти полгода руководство осуществлял главный агроном Усольцев Сергей Трифонович, которого явно утверждать в директорах никто не собирался, но и другой кандидатуры почему-то не находилось, и как в одночасье – Николай Федорович Кожилин, в подчинении которого воевал почти два года капитан Грызлов.

– Ты не ошибаешься?

– Да что с вами, Андриан Изотович?

Трудно было припомнить похожий момент, когда бы Андриан Грызлов чувствовал себя настолько растерянным, не решаясь на следующий шаг, но секретарша уже сообщала по телефону, что Андриан Грызлов находится в приемной, и снова подняла на него глаза;

– Николай Федорович вас ожидает.

Бывший майор Николай Кожилин, вплоть до тяжелой контузии бывший командиром капитана Грызлова, появился в районе раньше Андриана и был уже в должности председателя райисполкома. Соблюдая субординацию и не желая без нужды напоминать о себе, он встретился с бывшим командиром только, когда в деревню вернулся реабилитированный Семен Задойных, свой, деревенский, с бухгалтерской подготовкой, и понадобилось его трудоустройство. Встреча показалась излишне натянутой, вопрос удалось успешно решить, но, как не странно, продолжения и былых теплых отношений не последовало.

– Здравствуйте, Николай Федорович! – Голос его был натянут словно струна.

– Здравствуй, Андриан! Давно не встречались.

– Давненько.

– Вот с большого кресла на маленькое... с небольшой задержкой в пути.

В таких неудобных и неопределенных беседах вопросы задают тронутые на полную голову, или вообще безголовые; Андриан сухо сказал:

– Мое было еще ниже, да сплыло.

– Я отменяю передачу, такие акты должны решаться на более высоком законодательном уровне... Там целинников ожидаю, потом разберемся.

– Целинников? Я могу что-то просить?

– Что?

– У меня два капитальных складских помещения, в каждом по зерноочистительной веялке – мое преимущество, чего нет у других. Март – подготовка семян, которые мы всегда качественно делали для всего совхоза. Уж не механика, слесаришку прошу, был, да сплыл не без заботливой помощи доброжелательных органов, став расхитителем. И на веялки по паре девах с комсомольским задором.

Утром шофер утепленной «хозяйки» Юрий Курдюмчик привез двух девчушек и парня, назвавшегося слесарем-сборщиком, и мужчину, вроде бы непричастному к целинниками и не вступавшего в разговор. Девчушек Андриан определил на временный постой к Хомутовым, и когда Нюрка отправилась утрясать его новое распоряжение, поднял взгляд на мужчину.

– Вы ко мне?

– Да как сказать? Жену я ищу. Я с Украины. Война, потерялись, я по госпиталям еще два года после войны. Деревни нет, подчистую спалили, ни соседей, ни знакомых. Добился только, на Алтай тогда отправляли... Вот езжу по районам – особого учета не было, какие следы. – И протянул крепкую руку: – Силантий! Силантий Чернуха!

– Так вам в район, у нас-то что забыли?

– Был. И следок вроде нащупал. Сказали, в сорок четвертом прописывали в Маевке. Вроде бы как в октябре директором школы назначали, а потом, когда начались всякие сокращения, уехала в неизвестном направлении.

– Кто? Вы о ком?

– Я не сказал? Так моя жена Чернуха Мария Степанова.

– В сорок четвертом?

– Ну, в сорок четвертом, как раз у меня второе ранение.

– Нет, не знаю, в то время я еще воевал, и по госпиталям.

– Ну-к и я воевал, товарищ, и я – в госпитале, Так, а в деревне люди, спросить-то мы можем и справку навести.

– Учительница и даже директор?.. Ну-ка... за справкой. У меня бухгалтер... Ага! А у него жена учительствовала в то самое время. Он сидел, значит, по трудовой повинности, а женка учительствовала. Галина Ниловна. Давай к нему. Ты шагай, – подталкивал Андриан вверх по ступенькам назвавшегося Силантием, бесцеремонно втолкнул в коридор, бухгалтерскую конурку, с порога шумно спросил:

– Ну-ка помогай приезжему человеку найти другого человека. Кто был директором нашей малолетки в конце войны, что-нибудь знаешь?

– А дело-то в чем? – Семен Семенович поправил круглые очки на пружинных дужках, уставился на вошедших укрупнившимися глазами – Вы кто будете, товарищ?

– Давай без расспросов, я уже допросил. Чернуха Мария Степанова работала в школе при твоей Зинаиде Матвеевне?

– Да вроде работала, я не вдавался.

– Так давай вдаваться и прояснять. Выходит, он муж. С Украины. Документы есть?

Мужчина дрожащими руками вынул их внутреннего кармана замусоленного пиджака справку и паспорт, протянул Задойных. Но Андриан перехватил, развернув бумажку, прочитал:

– Чернуха Савелий Иванович... Ну, тоже Чернуха. Муж и жена, какие вопросы.

– Когда это было! Лучше к ней, к Галине Ниловне, должна помнить.

– Правильно, из первых рук лучше, – одобрил Андриан и зычно крикнул: – Нюрка, ты где? Проводи товарища к бабке Христине и ее дочке-учительше.

Нюрка вернулась не скоро и вскрикивала:

– Ой, Андриан Изотович, что там было? Что было, не поверите!

– Так ты пока ничего не сказала, что было?

– Так нету концов и не предвидится! Галина Ниловна сказала, что жена приезжего давно мужа себе нового в райцентре нашла. Тоже из учителей. И куда-то уехали, че им тут погибаться, образованным!

– А он?

– Приезжий? Попросил Галину Ниловну показать комнатку, где жена жила, посидел как убитый и в магазин.

2

В каждом складе было установлено по одной веялке с ручным приводом. Очистку, калибровку и протравку зерна выполняло звено Елены Камышевой. Новых девах Ольгу и Зинаиду она поставила на веялку с тугим барабаном и к обеду они, не выполнив треть нормы, уже набили кровавые мозоли и едва не плакали. Парнишка оказался сообразительным и встретил управляющего занозистой критикой, что все у них на току при современном прогрессе по старинке и в ручную.

– Ну дак, а как, молодой человек? Что вы на заводах производите, тем пользуемся. Не ко мне, не ко мне!

– А переделать?

– Шило на мыло?

– На электрическую тягу, товарищ управляющий. По-современному?

– И как это будет, к примеру? – заинтересовался не без воодушевления Андриан.

– Кузница есть?

– Для такого рационализатора найдется.

– Вот, делаю два угольника на болтах, снимаю с зернопульта, который сейчас не используется, электродвижок, и закрепляю на площадке. Вместо ручки-воротка будет шкив под ремень тракторного вентилятора. Вымеряю размеры, закрепляю движок и шкив и включайте, товарищ управляющий.

– Стой! погоди! Повтори-ка сначала!

Выслушав снова, похмыкав, распорядился:

– Елена, ищи Касьяна Жуделя, Курдюмчика и Хомутова. Веялку эту на машину к Юрию, Хомутова в кузню к наковальне, Касьян с парнишкой по электричеству. Шкив и мотор Наталье поручим и чтобы к вечеру мне экспонат был в действии. Смотри мастер-целинник не опростоволохся! – И сам, оказавшись в кузне, не отошел от горна, пока работа не настроилась как надо.

– Ну, заканчивай, должно получить, мне на ферму пора, Никодим, да движок не спалите, головой ответишь.

В конторе на крыльце поджидал приезжий с Украины. Завидев Андриана, вылезающего из ходка, поднялся и отряхнулся.

– К вам я, товарищ управляющий.

– Если могу, помогу?

– Работать хочу, примите?

– У нас! В нашей деревне?

– Я с хозяйкой на постой уже сговорился... В ее комнатке. И кроватка ее.

3

Март мартом и буран бураном, но сердце было не на месте, что там и как в верхах-то районного масштаба. Неделью дуло и пуржило знатно, каждое утро Андриан Изотович пытался связаться по телефону с новым директором, напроситься на прием, хоть что-нибудь прояснить основательнее в окончательно запутавшемся вопросе вокруг деревни, но всякий раз ему отвечали, что начальство в райцентре. Тяжело поднимаясь из кресла, он бросал нарочито бодро:

– На ферму схожу, что-то вроде молоко опять упало.

Говорил он правду, его действительно в эти дни сильно тянуло на ферму и особенно в телятник-родилку, которая всегда оставалась на первом плане, не исключая жаркие дни сева, сенокоса, жатвы – совхоз был молочно-мясного направления, за молоко стружку снимали в первую очередь. Почти не случалось дня, чтобы Андриан Изотович не наведался в коровники и не заглянул в телятник.

Мало кто из деревенских ребятишек той поры не был привязан незримыми нитями особой детской любви к домашней скотине. Каждый летний день у них начинался с того, что они провожали ее в стадо, а заканчивался встречами этого уставшего и огрузившего стада. С ухода за скотиной крепло ребячье приобщение к сельскому труду, и это чувство привязанности к своей, самой лучшей в деревне, корове и своей, опять же непременно самой лучшей, хотя и строптивой подчас, овечке оставалось на всю жизнь. Не минул обязательной детской участи и Андрианка Грызлов, сохранив приятную, теплую память обо всех выращенных на их подворье коровах.

Последнюю с ведерным выменем он, замирая сердцем, сдал в совхозное стадо во исполнение многим неожиданного распоряжения, не выполнить которое не мог хотя бы только потому, что был управляющим, и заводить, когда появилось ослабления, уже не решился, как Таисия ни настаивала. Ходил одно время, присматривался, у кого взять бы телушку, но все они показались какими-то чужими, не вселяющими прежней радости и незабываемой детской умиленности, с которой он засматривался на потомство от старой материной коровенки, выделенной ему при женитьбе. А главное, душа уже не лежала и не хотела беспокойных неприятностей.

Ну вот чтобы, казалось, держу я, сельский житель, корову с овечкой или нет? Кому какое дело? Собственностью большой обзавелся, разбогател? В капитализм ударился с просвечивающимся задом? Нет, и здесь мы лучше знаем. Так это уже не Сталин с Берией, новая волна и новые веяния, говорящие сами за себя.

С той поры он еще сильнее привязался к молодняку на ферме, и всячески способствует жене, так же отдающей все силы подрастающему молодняку, выбирая умело пополнение для взрослого дойного стада.

Обойдя ферму, сеновал, силосные ямы, он заглядывал мимоходом в кузню и, радуясь, что нашел в непогодную сумятицу, сбивающую с ног и неприятных рассуждений, настолько простой способ избежать нежелательного сейчас общения с людьми и въедливых вопросов, не возвращаясь больше в контору.

Март лихо ревелился и шумно буянил, забираясь под стрехи, подворотни, печные трубы, не разбирая день или ночь. Рыжей сковородой в белесой пустоте и бесконечности изредка мелькало обмороженное будто, выставшее и незрячее солнышко. Ветер взметал хрусткую, словно крахмальная, россыпь, снежную пыль, накрывал ею деревню. Морозец то ослабевал, то накалялся до невесомого щипучего ожога. День чаще всего завершался багряным закатом, легким туманцем над речкой, низовой метелью. Голоса дикой стихии, особенно по ночам, были утробно-тягучие, ледяные, остужали самую горячую кровь, а подголоски ее – и медь литая, и чугун кованый, ухающий близко, за оконными стеклами, – врывались в избы недолгим, но глубоким испугом, лишая людей сна. И все же как ни удал этот своевольный зимний месяц, и на него есть управа. В свой час – в кутерьме с завихрениями, морозцем и подвыва-

нием, пустыми хождениями в контору, горячих разговорах о своем будущем и завтрашнем дне деревни, никто уловить не успел в беготне повседневной – качнуло лесную глушь теплым дуновением, небушко серенькое да выстывшее прояснилось, обострилось яркой синью, зима, наконец, окончательно и безвозвратно повернула на весну.

А много живому нужно? Живое – остается живым, ожидая свой час; всюду вздох облегчения, хотя, быть может, не этого облегчения ожидали в Маевке в первую очередь, люди обрадовались слепящей перемене, забыв невзгоды, затаенную боль, весело и громкогласо заприветствовали друг дружку, словно сроду не ссорились.

И сам Андриан Изотович заулыбался людям свободнее, открытее. Снежок покрылся крепкой матовой коростой, сухой поверху и влажной изнутри, захрустел поглуше, помягче, рассыпался бесцветной, слегка замутненной зернью. Отяжелевшими кудринами вились густые печные дымы, встемнев пятнами пота, заотфыркивались в беге рабочие лошади, из распахнутых навстречь свету коровников потянуло гуще, терпче, острее.

Ночи оставались яркозвездные, провода высоковольтки еще погуживали, и дед Егорша призывал не спешить с веснованием: далеко-онько, быть, до истинного тепла. Но поздно было, поздно. Нехороший слух сделал дело, все сдвинулось с мертвой точки нерешительности, обеспокоилось новым волнением, и потянулись из Маевки сани, машинешки, трактора, груженные крестьянским скарбом; стучали топоры, заколачивая бросаемые на произвол судьбы избенки.

– Не знаю, как удержаться от разброда, Силантий. Не знаю, а удержаться надо, чувствую, – жаловался управляющий Чернухе.

Силантий, назначенный бригадиром, и вроде бы как завязавший в крепкий узел свою судьбу с Галиной Ниловной, выглядел черным, подавленным. В нем происходила своя напряженная работа, и однажды он признался:

– Меня тоже в обработку взяли... На первое отделение, значит.

– Директор? Николай Федорович?

– Пока агроном.

– А ты? – Андриан Изотович потускнел, увел в сторону глаза, потому что в ответе практически не нуждался.

– Дак вот и загвоздка... Галина же... Держусь пока, – уклончиво сказал Силантий.

– Одного меня никуда не зовут.

– И тебя звали, – напомнил Чернуха. – Еще на какие работы.

Андриан Изотович постучал кулаком в грудь:

– Я про это. Душа и совесть не зовут.

И будто обрадовался открывшейся в себе прочности, подставив давно небритое, исхудалое лицо солнышку, прищурил один глаз.

Похоже, решение Кожилина, по какой-то причине, не понятной Андриану, продолжить самостоятельную жизнь Маевки, не встретила должной поддержки, распоряжение явиться для решения вопроса о передаче скота на другие фермы совхоза пришло под вечер. Андриан долго хмыкал, рассматривая принесенную бухгалтером телефонограмму, и спросил, накрывая бумажку ладонью, будто листок мог взлететь и причинить новое беспокойство:

– Ну как это так, да что за непруха на нашу голову, Савелий? Ну все против нас, как нарочно. Выходит, все же кончать с этим делом придется, Семен Семеныч, а?.. Ну что же, давайте кончать.

Все в нем просило широкого, с уважением к их Маевке разговора, запальчивых возмущений, но Силантий отмолчался, Задойных оказался настроенным вовсе на другую волну.

– Одного не пойму, – произнес он бесчувственно монотонно, – на что вы рассчитывали и в чем видите выход? Я лично считал и считаю, что у нас есть кому думать и принимать ответственные решения... У нас потому и уродливо в каждом вопросе, что каждый домо-

рощенный сморчок лезет в представительные боровики, не научившись прилично держать голову на плечах.

Упрек это был или предупреждение, Андриан Изотович не понял. Отбив свой воспитательный лагерный срок, связанный с бухгалтерским нарушением социалистической отчетности, в чем, практически, не был повинен, Задойных жил робко, с оглядкой, что Грызлова не всегда устраивало, критическую размашистость управляющего никогда не поддерживал, частенько остерегал, не подаваясь переменам и расстраивая Андриана. Впрочем, с оглядкой жил не только Задойных, безголовые да бесшабашные в деревне давно перевелись, перековавшись на лесоповалах и в трудовых лагерях, накрепко усвоившие, что плетью обуха не перешибешь, а жить как-то надо – главная пилюля-отрава, развивающая скрытое приспособленчество. Уж самые близкие постарались позабыть какого они рода и корня, кто каким духом дышал пару десятков лет назад, кто у них дед, кто прадед, и под каким кустом закопана прежняя честь.

Живут, прикусив язычки, восхваляясь пролетарским происхождением.

Да, собственно, таких, у кого есть о чем говорить, вспоминая прошлое и не оглядываясь на всякий шорох, давно не осталось, и сам Андриан выстужен подчистую по этой части.

Задойных немного другой, похитрей и памяти окончательно не утратил. Иногда что-нибудь осторожно да выдает кудряво эзоповым языком, как снова пытается что-то подсказать.

– Вот помощники, мать вашу! – не желая вникать в его предупреждение и вскидывая на бухгалтера укористый взгляд, вяло произнес Андриан Изотович, и это прозвучало как «все-то ты знаешь наперед, сухарь такой, ничем тебя не проймешь».

Жизнь Андриан Изотович принимал по-разному, но чаще как бывало удобно ему в ту минуту. Видел ее невероятно сложной, с трудом поддающейся анализу, и видел похожей на пареную репу, которую осталось только съесть. Усложнял в простых, казалось бы, случаях и упрощал там, где упростить вроде невозможно. Он прочно свыкся с должностью управляющего – настолько прочно, что лиши его вдруг этого места, примечательного разве тем, что горячее да беспокойное, он почувствует смертную обиду сразу на все власти и, пожалуй, зачахнет. Работу свою никогда не называл любимой, не нажил на ней ни громкой славы с орденами-медалями, ни материальных благ, о чем в те годы и думать ни-ни, позволяя все же самую малость приворовывать руками надежных помощников из складских совхозных запасов. Он привык к ней, навсегда привязался, как привязываются к родительскому дому, не замечая его ветхости и старческого уродства, не желая переустраивать, чтобы не вызвать нарекания, свыкся с ежедневными обязанностями в нем, считая просто необходимыми.

Живой, населенный вовсе не тихими, далеко не безропотными людьми, деревенька-дом, казавшийся вечным, как вечным кажется всякий отчий дом, забирал целиком. И Андриан, сохраняя природную мужицкую совесть, вынужден был откликаться на его ежечасные волнения, просьбы, мольбы, жалобы, как положено откликаться здравомыслящему хозяину-вершителю. Как перенял манеру вершить правые и неправые дела от родителей. К чему побуждала крутая жизнь, обстоятельства, совхозное начальство и руководство повыше совхозного.

Меж тем власти выше совхозной для него не существовало. Он крепко усвоил простую житейскую истину: охотно соглашайся со всеми советчиками-требователями – больше сохранишь нервных клеток, но делай и поступай сообразно приказаниям единственного человека – директора. И, поступая так, требовал соответствующего к себе отношения со стороны бригадира и звеньевых.

Желающих покричать, покомандовать деревней, врезать «бича» строптивому управляющему, стругнуть выговором всегда находилось великое множество, гораздо больше стре-

мящихся быть искренне полезными этой деревне. Уроки рьяных стругачей не прошли даром. За них было дорого уплачено, и Андриан Изотович нисколько не сомневался, что место управляющего занимает по праву, достоин его, хотя по заслугам так и не оценен, завершая трудный путь земледельца совсем иначе, чем мечтал когда-то и мог бы. Испытывая тревогу за урожай, за хлеб, он, подобно всякому серьезному хозяину, и жил единственной никогда не рассасывающейся тревогой. Сам вливал того же «бича» нерадивым «домочадцам», сам направо и налево стругал выговоры.

Семен Семенович Задойных был опытный бухгалтер, человек, битый жизнью и выдавший всяких руководителей. Понимая, что пошуметь и покричать Андриану Изотовичу – лучшее средство, чтобы отойти и расслабиться от внутреннего напряжения, он, как, впрочем, и многие другие, так же хорошо усвоившие Грызлова, никогда не роптал на его ежедневные срывы и принимал если не как должное, то, по крайней мере, как неизбежное.

Видя, что Задойных не уходит, покорно стоит слегка согнувшись, Андриан Изотович усмехнулся горько и не нашел ничего лучшего, как спросить ехидно:

– А ты себе где фатеру застолбил? Уж, конечно, на центральной, полнометражку? Стоит ли чикаться, когда для нашего брата, переселенца, все двери настежь! Входи, обживайся за казенный счет. С водопроводом, конечно, да?

– Я заявление отвез, – обронил бесстрастно Задойных. – У меня выслуги, досрочно могу на пенсию... И болезнь, вы знаете.

– Ну да, ну да, – поднимаясь, неловко и торопливо заговорил Андриан Изотович, – все это, конечно, у тебя есть права. Слушай тут, если новые команды поступят, пройдусь немного. Не могу долго без дела рассиживать, а дел вроде и нет. – Обернулся с порога: – Рацию-то теперь уже не поставят или как, уточни.

И пошел. Не пошел, а поплелся. Надломленный, усталый, словно не спал трое суток.

4

Холодный озноб окатил, едва Андриан спустился с крылечка и ощутил дуновение ветра. На ферме он сегодня уже был, оставалось пройтись улочками, пересчитать очередные потери.

И шел, и считал заколоченные избы. Перед некоторыми останавливался, стоял подолгу в раздумье, вороша в памяти связывавшее столько лет с уехавшей семьей. Воспоминания были самые разные. Кого-то из покинувших деревню было жалко, а кого-то и нет, особой порядочностью не отличался, жил ни богу свечка, ни черту кочерга, коптил небо, но все они вызывали сильную грусть и неизъяснимое желание в чем-то повиниться перед каждым опустевшим и онемевшим навсегда домом. Было трудно смириться, что вчера или позавчера еще громогласные и заботливо-шумливые эти подворья встречали его неунывающим бодреньким смехом или простенькой бабьей просьбой, зазыванием в гости или злым и заполошным проклятьем, и чего он с деревней лишился, было невыносимо жалко. И непотребно деревенски-заполошного, от чего был не прочь когда-то избавиться сам.

Да-а, наша русская глухомань, по сей денек так и не понятая ни одним серьезным мыслителем! Сколько бесхитростно противоречивого, кондово-упертого, лежащего глубоко и лежащего на поверхности! Но почему настолько бессмысленно и наивно? А разве не так было при Болотникове, Разине, Пугачева – не бессмысленно и наивно? Что поднимало и чем заканчивалось?

Что за ум такой русский – ором орать да на божничку сажать очередного чудо-спасителя, совершенно не верящего в необходимость собственному народу этой самой душевной божнички, лучше зная, что ему нужно на завтра и послезавтра! Шиворот навыворот и задом наперед!

Анафемой и осиновым колом прибавочной стоимости капитализму так и не стала – она и при социализме творит дела и делишки – что не видно только тому, кто видеть не хочет. И заповедь «власть народу» – мало что сделала. Лозунгов краснее красного, а власть в райкомах-крайкомах, да за кремлевской стеной. Главное, ведь не прижилась в том толковании, как преподносилась и настырно преподносится, а под видом народного волеизлияния процветает и крепнет нечто другое – жесткий хомут, называемый демократическим централизмом, о котором хоть белым пиши по-черному или наоборот, приятней не сделаешь...

Что было, то было, и в совхоз его родные усольевцы шли так же тяжело, как некогда в колхоз – это уж порода такая. Артачились, спорили, дружно голосовали против, словно вдруг позабыв, как добивались этой милости, проклиная послевоенную колхозную житуху. А решилось до удивительного просто – Андриан Изотович невольно улыбнулся. Взлетел он молодым петушком на трибуну, поправив под ремнем выпцветшую уже на колхозных полях гимнастерку, гаркнул ухарски: «Сколько заседать будем, товарищи дорогие, когда ночь для другого предназначена!» Он вовсе не хотел охальничать, и слова о необходимости вступить в совхоз были совсем другие на уме, но, произнеся озорную веселую фразу, для чего людям ноченька сладкая, припомнил вдруг потешный, многие годы не забывавшийся случай с Меланьей-знахаркой и ее дочкой, произошедший на свадьбе, и его понесло. «Вспомним, что говорила наша Меланья, когда дочку замуж выдавала, и... проголосуем дружно. Че уж волюнку тянуть, начальство только запарим». Дрогнули стены, колыхнулся к сцене тяжелый смрад мужицкого пота и табака, взлетели руки: «Закрывай говорильню, Андрианка! Доходчиво распропагандировал, согласные!»

Реплика Меланьи была знаменита безобразной откровенностью насчет того, может ли молодая женушка на ночку-другую сохранить невинность, как бы это так похитрее в постельку прилечь, чтоб уберечься от мужа-охальника. Меланья резанула ей похабно и недвусмысленно, что замуж выходят не для того, чтобы в подол посильней заворачиваться, а пора выворачивать все, что сберегала в девах, и, мол, как ни ляжешь, а муженек своего не упустит, что надо возьмет.

«А сейчас разве не те же методы? Не силком? – вдруг подумалось Андриану Изотовичу и сердце его приостановилось; щипнуло вдруг снизу, потом сверху, оплело удавкой. – Разве не в том же мы положении глупой Меланьиной дочки? На что надеюсь-то? Ведь и с отцом главный спор состоял, что настоящей крестьянской свободе под общим кнутом не бывать. И не кнут-погоняло, а мирское соглашение мерило мерил, Однажды и на долгие годы, в чем старая консервативная деревенская община был устойчива и непоколебима со времен раскола. Что власть – не параграф-статья, а нечто другое, а когда достанется глупому и самонадеянному или прохвосту, без нужды и необходимости привычное переворачивается с ног на голову».

В молодом запале, страстных желаниях света, простора, необъятной свободы, о которой тогда, собственно, и представления не было настоящего, кроме призывов, виделось как-то иначе, похожее на радужные миражи. Отцу возражал на его упрямо не принимаемые доводы о разумном деревенском хозяйствовании – искры летели из глаз...

Или только мерещилось, и хотелось видеть по-другому под обвалом горячих, опьяняющих слов, оказавшихся несоизмеримыми с жизнью...

Строить и созидать необычное и величественное, не существовавшее до тебя – у кого голова не закружится. Вот и строили, раскулачивали и выкорчевывали, на целину набросились с песнями, но без ума и расчета, расстреливали генетиков и поклонялись травопольщине, кукурузу внедряем, вместо недавних веников, толком не освоив технологию возделывания, как и где она способна давать урожай. С пьянством завязались, устраивая все-народные судилища на смех курам и уводя в сторону глаза, когда у тех же мусульман-христопродавцев давно решено на века и без ора. От личных подворий освобождали, посадив

трудолюбивого селянина на ущербный паек, теперь до сселения с переселением дошло, делая огромную Россия стадом в бессмысленных городах-мегаполисах, навсегда теряющих истинный корешок духовного первородства

Гамузом, с ором, в буче боевой и кипучей, чтобы памороки снова вышибло из башки как можно надольше. А в куче что зерно, что навоз одинаково самовозгораются и сжигают в прах.

Сердце колыхнулось несмело и ожило. И Андриан Изотович вроде бы ожил, хапнул побелевшими губами невесомой прохлады, и тупая, саднящая боль на время притихла.

Почему отец чаще стал напоминать о себе? Неужели рассудительная правда за ним, а мы куролесим по дурости, заламывая мужицкие вязы?

Шел и шел, тиская грудь, незаметно, без всякой цели оказавшись у дома Хомутовых.

Хороший дом, крепкий, строился понимающим свое дело мастером, обихоженный заботливо, мог бы еще прослужить не меньше века, но не прослужит... Уже не прослужит.

Старый комбайнер насаживал на черенок лопату, что Андриана Изотовича почему-то обрадовало, и он громко поздоровался с Никодимом. Тот кивнул, приподняв, черенок, прикидывая, как удобнее придется руке, поправил на нем лопату и опять поднял. Это был человек, сосредоточенный на будничном и необходимом деле, которого сейчас не было у Андриана Изотовича, и он, словно досадуя, что не может найти столь же будничного и привычного, поспешно прошел мимо.

Всякого лиха довелось хлебнуть ему за годы своего начальствования. Выговоры – строгих и самых строгих, с последним предупреждением и с занесением в учетную карточку – как репьев на козле деда Паршука. Все куда-то направляли его, что-то требовали незамедлительно, и он что-то суетливо делал...

А с чувством, не спеша, как сейчас Хомутов...

И снова сердце допустило сбой. Но тут же выровнялось, Андриан Изотович еще жаднее втянул в себя холодного воздуха, достигшего, наконец, глубин его разгоряченного нутра.

Он шел по-хозяйски размашисто, грузно, а прежним хозяином уже не был, не было этого напряженно серьезного чувства, делающего тебя ответственным.

Ответственным? За что? Что метался по деревне подобно пастуху за домашним стадом, не позволяя коровенке-телушке забраться в чужой огород, а тебя материли как последнюю гниду? Не велика ответственность быть заведомо самодурствующим исполнителем без права на собственную полезную инициативу.

В другом проулке, стоя в кузове машины, Курдюмчик ремонтировал запорный крюк заднего борта. И с ним Андриан Изотович поздоровался громко, но в проулочек не свернул, опасаясь зримой пустоты. Еще где-то постукивали топоры, вгрызаясь в мерзлое неподатливое пока дерево, скреблись вилы на сеновале, кромсали снег взбрыкивающие лопаты, наносило запахи свежевыброшенного из пригонов навоза.

Сумерки сгущались; оживали печные трубы. При виде длиннее дымящихся, утверждающих жизнь, теплело на душе: «Живы! Ведь живы, едрит вашу и нашу!»

Навалившись на прясло Пашкиных, спросил хозяина с усмешкой:

– Дак что, Данилка, лыжи наострил, или как?

– Вострю, не видишь, – отозвался грубо Данилка. – Ты же на меня никогда всерьез не ращитывал.

– Ну, давай, – сказал Андриан Изотович, словно не уловил Данилкиной колкости. – Главное в таком деле не опоздать, я и Нарукавнику посоветовал не тянуть.

Не слушая, что кричат вслед Пашкин и явившийся из-за сарая Трофим Бубнов, он удаляется гордо, подчеркнуто замедленно, удовлетворенный в душе, что Данилка с Трофимом заняты не дорожными сборами, а будничным крестьянским трудом.

В одном дворе грузились на тракторную тележку, в другом – тут же, неподалеку – на сани. Эти дворы Андриан Изотович обогнул, не поленившись сделать крюк по сугробам, и сразу понял, куда идти дальше.

В груди снова было мертво и холодно, душа не сумела полностью ожить – люди-то уезжают, уезжают его строптивые «домочадцы». Злость брала верх над всем. Невыносимо яростная, раздражающая сердце. Заглушить ее можно было сейчас только единственным средством.

Он еще и рта открыть не успел, как продавец Валюха Козина выставила догадливо поллитровку и, лучезарно улыбаясь мягкими малиновыми губками, похожими на сладенькое малиновое варенье, спросила томно:

– И кто же там седне, Андриан Изотыч?

А губки склеились и липко расклеились

Грызлов молча сцапал бутылку, сунув ее в карман шикарной собачьей дошки, которую надевал обычно лишь отправляясь на центральную усадьбу, заспешил домой.

Глава четвертая

1

Еще издали угадав его настроение, Таисия встретила на пороге криком:

– Опять с белоголовкой – карман оттопырился! Это я долго терпеть должна, их вон еще сколь, если за каждого по бутылке – двух зарплат мало.

Всегда осанистая, умеющая нести себя с достоинством, при виде удрученного, словно незрячего мужа и при виде поллитровки, в которую Андриан Изотович начинает заглядывать чаще и чаще, Таисия не могла не бесноваться. Байковый халатик на ней развевается, она бестолково и вовсе не сдержанно, как умеет это делать на людях, машет руками. Андриан Изотович обходит ее, как назойливую муху, тяжело ступая, идет к столу. Плюхается мешком, сдернув шапку, сидит безмолвно.

Пить ему явно не хочется, но и не выпить не сможет.

Не-ее, не сможет – тоже ведь наперек; назло и в отместку непонятно какому такому лиходею.

Таисия собирает на стол и бурчит, бурчит: тоже скопилось, а выплеснуть некому. Уж ей участь выпала не легче, чем самой деревне. Не расписавшись по-человечески, обрюхатив, Андрианка усакал на войну, а ей каково? Вытерпела, не пошла по рукам, как случилось в те годы со многими – в деревне не сложно, проще пареной репы, и не надо тут а-ля-ля расчесывать сапожным ножом, живет, как живется, в наличии праведные, хватает и грешных. Но честно дождалась, достойная слава за ней шла из девах, охотников подкатывать на смазанных лыжах особенно не находилось, зная ее характер и репутацию, стала законной женой при живом муже. А муженек-то лихой, шибко лихой, хоть и туговатый на одно поврежденное ухо. И попивал, и погуливал. Ну ладно, пережили, детей вырастили, так сейчас из-за чего опять надрываться.

Собрав ужин и усевшись напротив Андриана, пустого стакана Таисия упрямо не ставит.

Андриан видит, что стакан она не поставила, и демонстративно не раздевается, не берется за ложку.

Их молчаливый поединок длится недолго, стакан Таисия приносит, подчеркнуто громко бухая об стол. Облегченно-устало вздохнув, (хоть в одном есть победа) Андриан вылезает из меховушки, которая сколь-то еще стоит колом, сохраняя объем его полного тулова, и первым делом наполняет стакан.

Пьет он медленно и молча, не притрагиваясь к закуске, словно кому-то в отместку. Опорожнив посудину, снова наполняет наполовину. И когда водка начинает туманить разум, с решительным стуком отставляя от себя недопитую бутылку, Андриан отодвигает тарелку с борщом, хлебницу, освобождая поле для очередной и привычной Таисии теоретической битвы с теми, кто создает ему неприятностями. Он готовится к этому действию добросовестно, со знанием дела и обстоятельно, заставляя жену следить с напряжением за каждым его движением, но, расставив пошире локти, вдруг опускает на руки востропанную голову и неожиданно произносит вовсе не то, чего ожидает в страхе Таисия.

Сухим обреченным голосом, чужим и незнакомым, он говорит:

– Мне гуси по ночам стали сниться.

– Какие... гуси? – несмело переспрашивает Таисия, еще не сообразив, как вести себя с мужем.

– Те самые, что Рим спасли, – повышает голос Андриан Изотович, раскачивая голову. – Гуси могут! Гуси, ты понимаешь, мамкина дочь! А нас кто спасет?

Таисия в неловком замешательстве. Понимая, что ничего хорошего вечер уже не обещает, она силится понять мысль Андриана Изотовича, ее своенравный ход, и не может.

– А-аа, молчишь! Оно лучше – ничего не делать и помалкивать, дольше проживешь. Вона сколь молчунов развелось! Придурки да молчуны, – усмешливо говорит Андриан и взрывается криком, готовый испепелить ни в чем неповинную и безответную жену – единственного человека на свете, которого он знает лучше других и которому не опасается высказывать всю неловкую очумелую боль. – Дак это у каких-то греков, в душу вашу, и то! Понятно хоть что-то? Хоть что-то тебе, мымра навозная, понятно, или одна глухомань в голове.

Таисии, конечно же, ничего не понятно. Да и что тут поймешь, тем более у перегревшегося муженька, но на лице у нее удовлетворение.

– Слава богу, прорвался чирей, давай поори, думала, не дождусь, околеешь прям в дошке, – ворчит не зло Таисия, потому что злиться ей давно уже не хочется, нет больше зла в ней, а есть только глубокая жалость: к мужу, себе, односельчанам, деревне, давшей им жизнь, обреченной на гибель и забвение. Как будут забыты и ее муж – управляющий, надорвавший себя на этой треклятой руководящей работе, и она – безвестная телятница.

– Да-аа! – пьяненько тянет Андриан Изотович, многозначительно вздымая палец. – У греков, у них всегда политика с философией шли нога в ногу. Нам до них далеко. Свобода с курчавыми фантиками! История, она девка с фокусом, ее обмануть... Цезарю-голове не удалось. Во!

Вздыхнув тяжело, но сочувственно, с облегчением – миновала гроза, сегодня в Андриане больше сентиментальности и слезливости, сегодня он власть в хвост и гриву стрюкачить не станет, на философию потянуло с мужицкой рассудочностью – Таисия смело теперь берет его руки, тянет от стола.

– Куды? Зачем? – противится Андриан Изотович, потому что зябкий вечерний холод в нем истаял, змей ползучий, оплетающий сердце, изгнан, на душе слабенькая истома. – Не хочу. Стой, сказано! Не хватайся за меня. Куды, в душу твою!

– Спать, вот куда, – мягко говорит Таисия, хорошо понимая мужнину душевную сумять. – Ложись, стратег-Цезарь, поспи, если пить не умеешь.

Раздевается Андриан долго. Особенно трудно ему вылезать из широких штанин, но и с этим он справляется самостоятельно. Шлепая босыми ногами по домотканым половикам, начинает сердито и зло бурчать:

– Эх, мать честная, ну ни у кого сочувствия не найдешь! Меня и страшат, я и поперек. Да не поперек, я со всеми своими. Чтоб жить. Жить, понимаешь! Вон Хомутов лопату на новый черенок насадил. Зачем, спрашивается? Дак – весна! Весна-а! Уедет? Хрен он вам уедет. Данилка колья тешет, городиться собрались с Трофимом...

– Ну-к, помощнички: один ревматик – твой комбайнер, а другой – шалопут, каких свет не видывал триста лет.

– Ниче, триста лет – это ты о татарах! А я о греках и Данилке! Ниче-е! – самодовольно выпячивает грудь Андриан Изотович. – Мужика, его в работе смотри, не на всяком остальном. А Кожилин, руководящая кадра, сесть не успел, а уже поперек. Даже самому себе, и не замечает. Люблю, уважаю! Хитрит? Нет, души нашей не понимает, ты понимаешь, в чем его беда! Одно и то же, а видим по-разному. Ну почему?! Вот ответ ты мне, если умная такая.

Таисия затем и дожидалась, пока он разденется – раздеть его полдела, главное дело в постель загнать.

– Тьфу, бесстыжий, – говорит она строго, – хоть застегнул бы кальсоны.

Андриан Изотович на секунду смутился, поспешно зашарил у себя на ширинке, а Таисии большего и не надо, из малого извлечет пользу, когда инициатива в руках. Подтолкнув Андриана Изотовича к постели – в смущении да замешательстве он сам рад поскорее улечься – укрывает его стеганым атласным одеялом.

– Еще уехал кто-то седне? – спрашивает уже заботливо-ласково, успокаивающе. – По кому такие богатые поминки?

И Андриану Изотовичу славно от этой ее не показной доброты. Он силится вспомнить, с чего началось сегодня расстройство чувств, и вспоминает – с телефонограммы. Рывком сев, он говорит с отчаянием и обострившейся болью:

– Все-е! Теперь точно все, Тайка! Все, моя красавица, никаких гусей-спасителей не дожидаться вовсе. Завтра с коровами ехать решать.

– Сам распорядился? Николай Федорович? – сбледнела Таисия – есть, оказывается, и в ней чувственное живое.

– Вызывают... Кому больше писать в таком тоне? По всем фермам расталкивать – разве дело? Хоть бы по гурту, а куда по гурту? Некуда ставить и у других. И куда? – Упустила Таисия момент; сбросив одеяло, Андриан рывком выбросил себя из постели, забежал по комнате: – Не дам! Не позволю!

– Андриан! Андриан, босиком, тапки же рядом!.. Дак, а Николай-то Федорыч! Кожилин-то! Он вроде как уверял...

– Да что он может? Что, если повыше иначе решается. Будь на его месте другой...

Но вдруг перестал метаться, присел на кровать, запахнулся одеялом. Что-то светлое пробежало по его пухлому лицу, налитому краснотищей.

– А может, это другие ловкие ускорители – главный-то наш почвовед Усольцев все губки облизывал?.. Ну-ка, в пиджаке бумажка, я как чувствовал, дай-ка, говорю, Семен Семеныч. Тащи.

Таисия принесла телефонограмму. Они склонились над ней.

– Нет, не Кожилин, – облегченно произнесла Таисия, – не глупее же он тебя... И тут: подготовить соображения. Значит, спрашивать совета собираются. Ну?

Андриан Изотович откинулся затылком на аляповатый, нарисованный на клеенке коврик с уродливыми лебедями, сказал:

– Кто его знает, с какого боку смотреть. У них там... Да черт бы с ними, с коровами, в конце концов, коров мы других разведем, не умеем, что ли, деревней бы устоять. Ну, как... Ну, наша ведь она, правда?

– Ох, господи, уж и сама не знаю! Да как же не наша – другого и не было, кроме деревни... Сегодня через дамбу пришлось пробегать – ни одной лампочки в гирлянде Касьяна. То ли выкрутил кто, то ли побиты камнями. Касьяна-то за что заграбастали, как расхитителя, за провода и столбы?

– Расхитители! У нас все расхитителя, включая меня!.. А деревня была, ты это брось, боевая подруга! Я, может быть... – Взгляд его посвежел и заострился, к лучшему изменилось лицо. – Ах ты, язви его, на сколь же она, новая заварушка! Но ведь ненадолго? Ненадолго ведь, правда, Тайка? На таком долго, а тем более далеко, не ускачешь. – И вдруг приобнял Таисию, притиснул к груди. – Да разве мы о таком с тобой мечтали, ты хоть, кукла безглазая, помнишь что?.. Ну! Ну! Есть в тебе что-то от нашего старого? Есть, Таисия?

– Уйди-ка, уйди! В штаны водка скатилась? Андриан, отцепись, говорю! – отбивалась несильно Таисия, давно не знающая мужской ласки. – Не балуй, не маленькие, поди.

Ее сладостно-приятное притворство, похожее на давнюю игру, окрыляет.

– Дак спать зову рядышком, – воспламенено нашептывал он ей на ушко. – Че уж ты вовсе, будто чужие в последнее время...

Глава пятая

1

Утром он вышагивал упруго и молодо, весело приветствовал сельчан. Люди останавливались, удивленные поведением управляющего, долго смотрели вслед.

Не доходя до своего углового кабинета, толкнул дверь бухгалтерии, не перешагивая порог, распорядился:

– С животноводства кто, Семен Семеныч... Ну, на увольнение по собственному желанию, сразу ко мне. Я должен заранее знать, словил, куда гну?

Задойных поднял очки, спросил нерешительно:

– А Талышев – знаете?

– Уже? – теряя улыбку и слушая, как новая горечь оплетает сердце, произнес Андриан Изотович. – Жалко.

– Жалко, – подтвердил Задойных, снимая очки, протирая синими нарукавниками. – Хороший механизатор.

– Лучший, Семен Семеныч, как бы мы с ним ни собачились по делу и без, не просто хороший, – глухо сказал управляющий и, почувствовав головокружение, навалился на косяк. – С Митричем я раньше в соседях жил. Парубковали вместе.

– Пойдете? – спросил Задойных, подслеповато поглядывая на управляющего. – Даже хорошей дороги не схотел обождать... А вы его лично упрашивали.

– Как же не попрощаться? – удивился Андриан Изотович. – Как-никак, дрались, бывало, на одной лошаденке с покосов на гулянки бегали на выпаса.

Потянув на себя заметно дрожащей рукою дверь, сказал, словно оправдывал решение Талышева покинуть деревню:

– Многодетным, им туго в нашей кутерьме. И это понимать надо.

К избе Талышевых он шел кратчайшей дорожкой меж плетней старого засугробленного проулка, которым, наверное, кроме ребятни, никто теперь и не хаживал, и столкнулся с Хомутовым.

– На ловца главный зверь, – замаявшись, сказал Хомутов и потупился.

Управляющий словно не видел его, и Никодим, набравшись смелости, продолжил:

– К тебе ковыляю, Андриан, помощь мне твоя большая нужна, не обессудь, что беспокою.

По-прежнему сломанный радикулитом, толсто обмотанный в поясе, Хомутов переступал нерешительно.

– В чем помочь, заявление написать? – грубо спросил Андриан Изотович. – Давай, пиши, пока я в духе. На одних санях с Митричем заодно и спроважу.

– До этого дело пока не дошло, – не менее сердито буркнул Хомутов, – но может дойти, если тебе такой разговор понадобился... В духе он! Оно видно, в каком духе.

– Ну... Этого не касайся, – Андриану Изотовичу было неловко; зная искреннюю и прочную привязанность Никодима к Маевке, напустился на него петухом, почти обозвал. – В чем твоя просьба?

Хомутов был из тех уходящих в историю колхозного движения первоначинателей, у кого нынешнее поколение механизаторов проходило выучку и трудовую закалку еще в довоенную пору. На тракторе с ним Андриану Изотовичу поработать не довелось, а вот помощником на стареньком комбайне «Коммунар» удосужился. В то далекое и странно азартное время Хомутов находился в расцвете сил, во славе, и работать с ним казалось немалой честью. Это был, пожалуй, самый выдержанный в деревне мужик, от которого нико-

гда не услышишь бранного слова, не увидишь пьяненьким и попусту зубоскалящим где-нибудь посредине проулка со смазливой девахой. Но затрещину мог вклеить не задумываясь, и память о тех крепких Никодимовых затрещинах в Андриане Изотовиче жила ослепительно ярко. Она не вызывала злобы и не взывала к мщению, по-прежнему заставляя говорить с Никодимом уважительно и сдержанно. Слегка нахмурясь, будто пытаясь упрятать глаза под густыми бровями, тем не менее, смотрел Андриан Изотович на него прямо.

– Все в том же, скотину нечем кормить, – пожаловался Хомутов. – Приволок вечер с фермы две вязанки утайкой, дак ить не продержишься долго. Да и совестно мне воровать, не по чести вроде бы, Андриан.

– Ты свою не прокормишь, одну, а я? У меня хватит на всех? – буркнул в ответ не менее хмуро Андриан Изотович, в то же время уже начиная прикидывать, как бы в самом деле помочь Хомутову.

– С тебя и спрос за всех... Даже за наших.

В затишье подтаивало. Шлепались редкие капли. Влажное, согретое солнышком старое дерево стрех курилось парком.

Хомутов насупился, пробурчал:

– Нету выхода у меня, Изотыч, провалился в собачьих опоясках сенокосную страду, а там – жатва, вплоть до снегов, че же делать, советуй... Стар я вязанками с фермы таскать, хоть одонков бы выписал.

Андриану еще более неловко. Не только у Хомутова нехватка в кормах для личного скота, полдеревни в похожем положении – за это спроса ведь нет. А какую помощь он может оказать, если и на ферме почти вдвое урезали норму?... Вот как оно так, из какого такого расчета, который ни разу, сколь Андриан в управляющих, полностью не оправдался? Ни разу ведь! Лишь хуже и хуже из года в год.

И не будет выполнен, потому что с потолка, из желания пустить пыль в глаза, а не из мужицкого расчета.

Дотронувшись до Хомутова, извиняясь за прежнюю резкость, Андриан Изотович пообещал:

– Придумаем на маленько, не отчаивайся.

Хомутов по достоинству оценил эту его пока словесную щедрость, обрадовался:

– Ну и ладно, а то я вконец духом пал. И к тебе приставать неохота, и деваться некуда. Баба ревет громче коровы, а кого жалеть, не пойму.

– Корову, само собой, кого бы мужику жалеть!

Одна половина ворот у Талышевых была приотворена. Андриан Изотович ступил на чистый метеный двор, подошел к саням, на которых рукастый, широкогрудый Талышев увязывал поклажу. Не зная, о чем говорить и о чем спрашивать, когда яснее ясного, сказал с ехидцей:

– Уезжает, а блеск навел, смотрите, какой я хозяин!

Веревка в руках Талышева невольно ослабла, узел получился не там, где нужно. Талышев дернул в сердцах короткий конец:

– А, сатана, лезет он под руку. Без тебя...

От крика его лошаденка испуганно дернулась, пошевелив сани, с воза что-то упало мягко. Митрич подскочил к лошаденке, схватился за узду:

– Стой! Стой, шалава!

– Да ты не психуй, – сказал Андриан Изотович, пожалев бывшего друга детства. – Если неприятно, я уйду. Мимо шел, не мог не зайти. Не сдюжил и не сдюжил, так и запишем.

Он хотел произнести эту последнюю фразу повеселее, лихо, но получилось грустно и даже укористо.

– За ково тут держаться, – овладев было собой, произнес Талышев, стараясь не встречаться с управляющим взглядом, – по-всему, отдержались, Андриан. – Но конь спятился, сани опять скрипнули, и Митрич, продолжая стискивать узду, врезал коняке по губам, заорал бешено: – А-аа, мать ее, распустила слюни! Крутится она тут, постоять смирно не может!

Лошадь вовсе не крутилась и шибко не своеволила. Так, мотнула в охотке головой, задела чуток Митрича влажной мордой.

– Скотина снесет, бей, – сказал Андриан Изотович, меньше всего стараясь причинить Митричу новую обиду, и снова получилось как-то не так, Талышев снова необъяснимо взъярился, поддернул кобылку недоуздком.

– И зашибу! Зашибу, в бога и в душу! – говорил сипло, словно надорвал голос.

Разговора не получалось и не могло получиться. Ничего сейчас меж ними, кроме ссоры, не могло получиться.

– Ну, счастливо, Митрич, – вяло произнес управляющий и помог Талышеву растащить ворота пошире. – На одноконке тебе за седне не управиться... На трактор сядешь? Дают трактор.

– Предлагали.

– Ну?

– Не хочу больше на тракторе, на движок пойду воду качать.

– Что так? Ты тракторист врожденный.

– Не канителился бы я на чужих полях. – Митрич был злой и красный. – Чужое, Андриан. Кабы хоть околочек знакомый... Не поминай ты нас худым словом – одного боюсь. Я бы, конечно... но сам видишь, сколь их у меня. Все школьники.

Шныряла вокруг ребятня – детей у Талышева было пятеро – стремясь уехать всем гамузом и непременно первым рейсом, выискивала место на возу и нисколько не печалилась происходящим отъездом. Вывалились из двери на крашенную дощатую приступочку жена с обмотанной тепло матерью-старухой. Старуха обернулась на хатенку под испревшей соломенной крышей, уже почти полностью заколоченную, перекрестила себя, обмахнула святым знаменем избу, помнящую крики многих и многих рождавшихся в ней, прошамкав что-то слезливое, закрылась платочком. Приложив к ставням крайнего окна доску, Митрич с маху вогнал в нее молотком гвоздь. Потом приложил другую, накрест, и тоже прибил со всем озлоблением. Потрогал зачем-то заколоченные ставни.

– Вот как оно в жизни, Андриан, было хорошее или плохое гнездо и больше нет... Кто бы подумал! Жили или не жили!

Испорченным звуком отзывалась Андрианова душа. Переждав очередное непрошенное гудение, сказал как можно бодрее:

– Может, к лучшему, не бери сильно в голову... Оно – кому как; счастливой дороги, Митрич.

– Дорога не жисть, дорог вокруг много, да скоро кончаются.

– Начнешь новую, место хорошее.

– А я не место ищу, Андриан, оно у меня было, я сердце свое рву на части. Корешок из души навсегда вырываю.

– Свое ли, интересно бы знать? – не сумев сдержаться, сорвался на крик Андриан Изотович. – Свое ли только?

Он никогда не задумывался, можно ли обойтись без этих вот криков и размахиваний руками, как он сейчас размахивал ими перед ужавшимся Митричем, что были его навсегда устоявшиеся и едва ли не врожденные привычки. Когда душа просила радости, он бурно и неподдельно радовался, когда она гневалась, гневались, нисколько не скрывая, его разум, лицо, руки; человек ведь действительно в своем природном и первобытном естестве похож на обезьяну, и другим делать его природа как-то не очень спешит.

Зная эту особенность – срываться на крик и криком отстаивать свои убеждения, вколачивать в головы собеседников, как вгоняют в дерево непослушный гвоздь, он никогда не считал ее слабостью или какой-то распущенностью, как утверждают некоторые, корча из себя интеллигенцию, а считал надежным приемом, проверенным практикой, чтобы заставить выслушать себя и стать понятным. Когда-то, должно быть, прием срабатывал неплохо – если кто-то и недопонимал чего-то, по крайней мере, вовремя включал тормоза, видя его разгневанным, и на рога упрямо не лез – но теперь стал обычной нервной распущенностью и лишь чаще пугал окружающих.

Впрочем, подобным образом меняются все люди, не желая ни признаваться, ни замечать за собой подобной мимикрии чувств и поступков и, разумеется, не считая распущенностью. Привычка и неизбежность способов человеческого сосуществования, позволяющие кому-то нахальненько и беспардонно властвовать и помыкать, а другим приспосабливаться и подстраиваться в поиске теплого места и доступного куска хлеба. Человечество не настолько глупо, чтобы высмеивать самое себя, и открыто признавать неизбежную человеческую паранойю.

Невольно подобравшись, Талышев потянулся на воз, подхватив дрожащими руками вожжи, перебирал их бесцельно.

Упрямо, настырно ждал чего-то.

2

Возможности свои Андриан Изотович никогда не переоценивал – управляющий есть управляющий – и никогда ранее особенно не тяготился, что их у него маловато. А теперь вдруг досада взяла – да ведь не просто управляющий, ведь он и есть главный хозяин этой земли, ответчик за ее судьбу и завтрашний день, ее ухоженность и будущую плодovitость. Он, само отделение, а не совхозное или районное руководство. Командуют все, а спрос с одного. Тогда почему с ними вольно и пренебрежительно... как кому-то ударило в затемпературившую черепашку?

В узком коридоре Тарзанка приставал к Нюрке-уборщице. Толкал ее от бака с водой в темный закуток, нашептывал соблазнительно:

– Пошли, полушалок покажу. Пошли, Нюр, ну, прям глаза отбирает!

Андриан Изотович прошел мимо, будто Тарзанкино поведение его не касается. Хлопнул громко дверью кабинета.

– Ха-ха, психует! – ржал Тарзанка, азартнее наваливаясь на Нюрку.

Нюрка и не заметила, как подпустила Тарзанку на опасное расстояние, но не рассердилась.

– Сдай, сдай, – говорила строго, – то вкачу шваброй меж бровей, у Валюхи водки не хватит отпоить.

– Хватит, Нюр! А я запасливый, Нюр, у меня не один. Ты погляди какие! Во сне не увидишь.

Разогретый выпитым, Тарзанка ласков был, хитрющ, упорно добивался своего, затмившего рассудок. Но и Нюрка не из простачков, уж что-что, а тонкости мужицких подкатываний знала как таблицу умножения. Можно подумать, что если одарит платочком, краденным у Валюхи в магазине, то и запряг! Как бы не так, Тарзанушка-пьянчужка! Не видать тебе Нюрки ни с подарками, ни без подарков, уйдешь, как раньше уходил, несолоно хлебавши.

Тарзанка взмок от напряжения, начинал злиться и сползать, как говорится, с катушек:

– Кончай ломаться, че те еще? С кем дак она без разговору... На-ко! – совал ей теплый пестро шелковый ком.

– Уйди-ии, подкупщик! – смеялась ему в лицо Нюрка. – Ты мне за чисто золото не нужен, стилига. А приставать еще станешь, Вальке скажу.

– Глянь на нее, кобылу брюхатую! – удивился обидчиво Тарзанка. – Вальке расскажет! Да если захочу как следует, сама прибежишь.

– Васька! Ну, Васька! Ни меры, ни стыда! – Стоящий на пороге кабинета Андриан Изотович был взбешенным, что Тарзанка мгновенно уловил и чуток отстранился от пышной девахи, источающей немислимо соблазнительный зной.

– Весной запахло, Изотыч, щепка на щепку полезла.

– Я те шас, мордovorот неумытый! Нюрка, и ты поменьше подолом мети – оно ведь и точно... Срочно разыщи мне Бубнова и Пашкина, потом доиграете!

– Во-во, управляющий у нас с пониманием. Позови ему Данилку с Трофимом, Нюрка, – осклабилсЯ Тарзанка и пошел вразвалочку, поскрипывая фасонными сапожками, по случаю добытыми Валухой в райцентре.

Скоро он уже шарашилсЯ коровниками, задирая голову к потолку, спрашивал:

– Горит? Не перегорели?

Доярки тоже задирали головы к лампочкам. Васька щипал их больно, хохотал:

– Не горит, дак шас загорится. Включать мы умеем.

Васька Козин был в загуле. Начхать ему на все, что мучает других, живи, пока живетсЯ.

3

...Жены не оказалось дома, ну а если не дома, значит, у Пашкиных. Трофим пошел к соседу.

Данилка ковырялсЯ с навозом, развозил на саночках по огороду, вываливая кучками без особого порядка.

Коровьи отходы, перемешанные с соломенной подстилкой, курились; упревшим, раскрасневшимсЯ выглядел скирдоправ.

– Матрена моя у вас? – хмуро спросил Бубнов.

– Сидят, – буркнул Данилка, лихо разворачивая санки у выгребного окна пригона.

– Что за субботник придумал среди недели?

– Скопилось... Руки не доходили.

– Зря. В бург, скорее сопрет.

Нечаянно задетые неповоротливым Трофимом, покатились по гладкой жердинке плохо прислоненные вилы, Данилка ловко поймал, метнул в навозную кучу.

– Хватит старого, с прошлого года бург за клуней лежит. Перегной я на грядки трушу, под картошку свежий сгодится.

Трофим уселсЯ на чурку, распахнув стеснявший его колушок, закурил. Данилка отвез еще пару саночек, тоже попросил закурить. Трофим зажег спичку, выждав, пока Данилка уминал самокрутку, сворачивал ее и слюнявил газетку, спросил:

– Ну и што после всево?... Уже Митрич уехал. СорвалсЯ, как наскипидаренный.

Выдавая его состояние, толстые пальцы Данилы дрожали, склейка не получалась, самокрутка рассыпалась. Дернувшись раздраженно, Пашкин бросил ее под ноги, растоптал в сердцах, пнув саночки, перевернувшиеся вверх тормашками, сорвалсЯ на крик:

– Да черт с ним, с Митричем твоим.

И плюхнулсЯ тощим задом в старых ватниках на полозья санок рядом с дружкой, затянувшимся особенно смачно. Натянул на грязные руки самовязанные рукавички с дырами на ладонях, сдернул снова, словно они обжигали, шлепнув о колено, вроде притих. Ему тоже было неприятно говорить о Талышеве. В спорах с мужиками, отзываясь о всяком новом деревенском отъезде довольно просто: «А они с деревней заодно никогда и не были, таким

куды ни ехать, лишь бы скорее», про Талышева он подобного сказать не мог, что еще больше выводило из себя. Если уж Талышев не сдюжил мутной волны...

Резко поднявшись, Данилка позвал:

– Давай в избу, они, лахудры недочесанные... Навалились вдвоем, а я не боженька на иконке, че отвечать? Схватился: назему скопилось,

– Схитрить пришлось!

– Больше как, им вынь да положи свое решение, а вынуть-то что, душу в дырках? Ить в дырках вся, червью съедена.

Глядя на огород, Трофим вздохнул тяжело рассудительно:

– Возишь, возишь... Кому?

– Себе! – в самое ухо ему крикнул Данилка и, подпернув штаны, повторил зло: – Себе!

– Себе ли? Может, сорняки плодить... Это как здесь сорняки поднимутся после нас...

– Ну, черта с два, хрен тебе с ручкой! Уж нет, – Данилка неожиданно и суетливо вскочил. – Старался б я из последнего. А ну пошли! Будет им мое срочное решение, я такой переезд седне устрою – другого не захотят.

– Во фляге осталось што после последнего? – спросил устало Трофим. – На сухую начинать не с руки.

– Задолбанят, как вошь таракана, – сбалагурил бездумно Данилка и лихо мотнул головой: – Айда, утресь качнул, кажись, бултыхалось. А нету – найдем, если на то пошло. На сухую не взять, упарят и замордуют.

Приподняв саночки, на полозьях которых только что сидел, приставил к бревенчатой стене, бодро пошел в конец огорода.

Банешка оказалась на замке, что сильно озадачило. Данилка подергал замок, похмыкал. Вытолкнув тряпицу из окошечка, вдавился лицом в квадратную дыру.

– Вот мордва купоросная! Вот купоросная! – гундел, шумно втягивая в себя терпко-кислые банные запахи. – Никак по-хорошему не выходит.

– Не-ка, не вижу, – сказал с сожалением через минуту. – Что же делать-то?

Трофима тоже удивили новые порядки в Данилкиных банных владениях, он обескураживающе бубнил:

– Дак че же, если закрыто. Закрыто и закрыто, будем считать – на перерыве. Давай ко мне, может, у меня найдется.

Данилкина натура упряма и своенравна, недостижимое Данилке вдесятеро желаннее. А тут – как бы выставлен в унижительном свете родной супружницей.

– Ах, язви ее, кума волосатая! – изумлялся Данила. – Ах ты, змея моя подколотная! Вот мордовская супонь, что придумала – под замок!

И бухал, садил плечом в стены, обшаривал обомшелые углы, точно готовился раскатать крепкое строеньице на бревешки.

– Оставь, если такой оборот, в другой раз наверстаем. Айда ко мне потихоньку. Оне – бабы. Оне – так, мы иначе, че уж зазря убиваться.

– К тебе? – в полкрика уже кричит озлобившийся Данилка. – К тебе? У меня уж своево дома нету? Холуй я им тут?

Разбежался, ударился плечом в дверь. Но крепко заматеревшее дерево, да и дверь наружу открывается, разве что с косяками удастся высадить.

Давилка был в ярости. Разлетевшись как фыркающий паровоз, снова бросил себя на препятствие. Безжалостно бросил, громко ухнув. Банешка лишь вздрогнула чуть-чуть, сотрясла под ногами земельку.

– Стой! – решительно требует Бубнов. – Давай с умом, обморокуем давай.

– Это как... через крышу? – мгновенно, как порох, воспламеняется Данилка, готовый ко всему, и задирает вверх голову.

Но и крыша сделана надежно. Трофим всовывается в оконный проем, выждав, пока глаза осwoятся в темноте, высмотрев что-то, командует:

– Ищи проволоку потолще, выудим, не может быть.

– Ха-ха! – закатывается радостно Данилка. – Давай удить, давай удилку сообразим.

Проволока находится скоро. Толстая, упрямо не разгибающаяся, но мужики все же выпрямляют ее. Бубнов снова всовывается в окно, побряхтывая и орудя одной рукой, подцепляет крюком жбан.

– Ох, Боже ты мой, достали! – не скрывает радости Данилка. – Вытянули че-то, братуха! – И засуетился, будто не желая принизить действия жены, навесившей замок. – Щас давай опростаем жбанчик, и ты его, Троша, снова отправь на место. Перельем в кувшин, и все чин-чинарем. Че бабе нервы трепать зазря, ага?

В доступных Данилке запасах нашелся приличный кус янтарного толстого сала, распечатый ведерный бочонок грибочков, стеклянная банка маринованных огурчиков, обмотанная тряпицей. Засели в пригоне, в наполненной сеном кормушке. У ног бочонок с грибами, меж ног у Трофима банка с огурчиками, на коленях у Данилки – шмат сала.

Корова пялилась на них добродушно и жевала, жевала себе.

Отправляя в рот кусок мерзлого сала, Данилка благостно развел рукой:

– Эх ты, Господи Боже мой! Ну, вот как это бросишь? Ну, мое оно, Троша, отцово и дедово. Знаю, где взял и куды положил.

– Так дед у тебя вроде бы из казаков.

– Не буровь лишнего, то давно позабыли, че вспоминать, чего не было. Деду досталось дедово, мне – мое. А если и было, кому до этого дело – когда потребовалось, выпотрошили, на сто рядов вывернув наизнанку, и приказали во сне не вспоминать... Сам-то, корова, сам! Сам из каких?

– Ладно, завелся. Было, не было. Мы последние, кто што-то помним. Но было же.

– Да было, язви ты в душу. Было и сплыло. Иногда как дохнет... Собственность, она тоже нас на крючок поддевает – я же еще не до конца позабыл. Живая, которая собственность, не железная. Дом, корова, баня. А мотоцикл, машина... Велосипед, и тот меня на легкую жизнь переиначивает. Вот она какая штука, Трофим!

– А че бы вот с ней ты сейчас закупоросил? Ну, гектар. Или два.

– Мне?

– Тебе, росомаха, тебе.

– Мне не надо, я не прошу.

– Ну, а все же, к примеру?

– Целый гектар?

– Или два?

– Не-ее, я не согласен, я – по узкому профилю: летом – скирдоправ, зимой – навоз на поля вывозить.

– Тогда как же... тогда?

– Во-оо! Во-оо! Частная собственность, в чем закавыка, сам из себя жилы тyani.

– Так ведь жили не хуже нашего.

– А ты с ними жывал – рот косоротишь на темное прошлое.

Хрустят сытно капуста с огурчиками, уплетается сало, но мировые проблемы с частной собственностью в коровьей кормушке едва ли решить, и Бубнов гудит после паузы:

– Митрич еслив – то следующий Силантий. Хороший мужик, с пониманием, хоть из хохлов, но у них Галина верховод, справится и свое не упустит. Дорожка вслед Митричу если Талышев подался.

– Не пустим! – ревет Данилка, пугая корову.

– Ты?

– Я!
– Брось городить... А ково, Силаху?
– Хотя бы... Схочу и не пущу. Он бригадир, не имеет права.
– Схочу, схочу! – передразнивает Данилку Трофим. – Ты Митрича не смог отговорить... Да где-е! Не-ее, не думай, я как ты, я... На Митриче ты обжегся.
– Я?
– Ты.
– Да я же всего мимоходом. Тебя-то кто согнал, говорю? И все, я сурьезно не говорил с ним.

– Оставь, бабы слышали.

Данилка замахивается на корову, сунувшую меж ними в сено голову, бьет ее кулаком в лоб. Корова неохотно пятится, и Данилка выбрасывает себя на кормушки.

– Пошли, – требует властно, – щас увидим.

И полез на свежий воздух. Трофим – следом. Выбежали со двора на улицу, перебежали проулком на другую.

Со двора Талышевых выползли сани. Данилка заступил дорогу лошади, уперся руками в оглобли:

– Стой, Митрич! Стой, не дело делаешь, говорить с тобой хочу.

Подергивая вожжи и чмокая на лошадь, Митрич сердится:

– Уйди от греха, Данил... если лишнего влил, не досуг мне ляссы точить. Уйди.

Данилка зол и настырен. Упирается сильнее в оглоблю и останавливает лошадь:

– Значит, плевать на всех! Подложил Изотычу свинью и рад! А кто тебе такое право дал самому по себе подобное вытворять? Я тоже могу, а не сматываюсь. Не пущу! Вот не пущу и баста.

Талышев, жилистый, высокий, сграбастал одной рукой, похожей на красную клешню, обе толстенные ручки Данилки, крутанул, другой двинул Данилку в плечо, и мужик полетел в сугроб.

– Опохмелься... Прохладись.

Трофим загородил Талышеву дорогу, раскинул руки:

– Осади, Митрич! Не дело! Не дело руками махать!

Но Талышев не помышлял о более агрессивных мерах, он развернулся к возу, сдернул вожжи, стегнул ими лошадь.

– Скотина ты, Митрич, – сплевывая снег, пьяненько ругался Данилка. – Самая распоследняя причем. Не знал я тебя раньше, и знать не хочу. Едь, там тебе золотом будут платить, может, разбогатеешь.

4

В избу он ввалился еще более пыхтящий и взбешенный. Распинав стоящие у порога валенки, рванул с плеч фуфайку, хлопнул об пол:

– Собирайтесь, куклы полосатые, ехать так ехать!

Ребятишки и женщины за столом ошарашено поразевали рты, притихли растерянно.

Данилка тяжело ворочал головой. Изба, обстановка показались чужими, незнакомыми, давили, стесняя его, не позволяя вольно дышать, и он готов был крушить, что подвернется, ломать и расшвыривать.

Первой нашлась Фроська, жена Трофима.

– Прямо сразу, что ли, кум, даже не дообедав? – спросила она, пытаясь быть веселой.

– Давай сразу, че тянуть, – с вызовом бросил Данилка. – Щас и отчалим. Вдогонку за Талышевым. – И забегал по избе, срывая занавески с окон и печи, шторы с дверей, швыряя

в кучу, на фуфайку, сдернутую с вешалки у порога. – Пашкин последним сроду не был, – ревел едва ли не слезно. – Ни в каком деле. И не будет никогда... Вращает он его, видите ли, серьезно не берет! Не бери, мне без нужды, берешь или не берешь. Кабы работать не умел – Колыханов на первое отделение с руками-ногами сграбастает. – Упарился, замер посреди избы, удивленный, что никто ему не перечит, не встает на дороге: – Что расслаживаете, точно каши объелись? Повторенья ждете?

Ввалился Трофим. Заговорил прерывисто, тяжело дыша:

– Знаешь, Данилка, слабо тебе впендюрил Талышев, покрепче бы надо. – Обозрев комнатенку и ошарашенных баб в застолье, заморгал глазами: – Во-на-а! Тоже в дорожку собрался?

– Собрался, хрен ли мне, не подпоясанному и с полосатым прошлым! К Ваське Симанову щас пойду за трактором. К вечеру след мой здесь остынет.

– К вечеру-то... Конечно, холодно еще, простынет.

– Нечего скалиться, хорошего мало, когда вынуждают.

– Не пробую даже, – усмехнулся Трофим. – Об одном боюсь: с проводами как быть? Люди заранее готовятся, стол накрывают.

– Ваське не до тебя, откажет.

– Теперь не к Ваське, теперь Настюха будет парадом командовать, к Настюхе иди на поклон, разрешит или нет.

– Ну и дурак, на что променял.

– А вы умные шибко, что вытворяете? – набросилась Фроська. – Прямо умнее самых умных!

Их перебранка позволила Данилкиной жене прийти в чувство.

– Где же они улюкались седне? – спросила она непонятно кого. – Это с чего развернуло, Фроська, на все сто восемьдесят? – Уставилась подозрительно на младшую дочь, оказавшуюся рядом в застолье: – Отдавала ему ключи?

– Не-е, мам, не давала. Он не спрашивал. – Тонька вытаращилась испуганно, словно бабочка, захлопала белесыми бровями.

– Сами нашли?

– Не знаю.

– А ну глянь.

Тонька выметнулась из-за стола, нырнула в горенку, вернулась с ключом:

– Во-о, мам, здесь!

– Так где они, Фроська, ума не дам. У тебя, что ли?

– А мы не пили, – растекся в нахальной улыбке Данилка. – Мы в пригоне с коровой целовались.

– Ну, вот что, крапивнички-собутельнички! – Мотька, пышнотелая и такая же, как муженек, невеликая росточком, выхватив у Тоньки ключ, швырнула Данилке в ноги. – Не пили, так пойдите и выпейте. Глядишь, одна дурь развалится на две. – И закричала: – Но не буянь мне тут, не пужай ребятишек. Мне все одно, где жить, здесь даже лучше было. Но было, а теперь сплыло. Так что и на переезд я давно готовая. Только не спьяну, а поумному.

– Трофим... Трофимушка, – ластилась, уговаривала Бубнова Фрося. – Ты-то на ково у меня похож, молчунок – тихоня сердитый? Ну и поедем, если решитесь. Поедем. С радостью. Ребятишки в настоящей школе поучатся. Дак по-людски же такие дела делаются, в самом деле, Мотя права, не с пьяных глаз.

– По-людски? У таких-то? – ругалась Мотька, наседая на Данилку. – Ты хоть раз видела, чтобы у них было как у людей? Ну-ка, приведи такой пример? По-людски она с ними сходила, с пьянчужками, наивная какая! – И снова зашла крайним криком: – Сваливай дальше,

че руки опустил. Рви, сдергивай, за трактором беги, я его тебе враз нагружу. Отваливай, пьяница растакой, чтобы не видеть и не слышать наовсе ни мне, ни детям. – Упав Данилке на грудь, Мотька громко заревела: – Да можно ли так, Данилушка! С ума сходить и то не умеешь, как другие, и тут с шумом да бряком. Ну, хочешь, открою я вам эту распроклятую банешку, смешите людей, беситесь, нас только не троньте раньше времени. А решитесь уж, как бы ни решилось у вас, ну тогда и дергайте и распоряжайтесь. Кабы не знала тебя, ведь никуды не уедешь, а шуму до потолка. Не так, что ли, говорю, ответь-ка по правде?

Данилка не выносил женских слез. На трезвую голову они его смущали, хмельного – приводили в бешенство. Осторожно отстраняясь от жены, он потребовал:

– Дай спички, Тонька.

– Зачем? – испуганно спросила дочь.

Данилка шагнул к припечку, нащупал в нише коробок, сунув в карман пиджака и обходя удерживаемого Фросей Трофима, гукнул сурово, мстительно:

– Спалю сволочей. Всех до единого, кто смылся, ни одной избенки поганой не пощажу.

И вывалился за дверь как был раздетым. Забежав за угол сараюшки, ткнулся лицом в остатки стога...

Глава шестая

1

Ранние сумерки разливались по директорскому кабинету, падала на окна темно-фиолетовая кисея. Было накурено, жарко. Говорили все, кроме директора. То коротко, злыми репликами, иногда хором, отбиваясь от навязываемого и что, в конце концов, непременно должно быть навязано, то пространно и расплывчато, оставляя что-то недосказанным, умышленно обойденным, увязшим на той границе допустимого откровения, которую на подобных совещаниях никто и никогда не решался еще переступить.

Полный, с пышной седой шевелюрой и обрюзгшим волевым лицом директор совхоза Кожилин, статный и широкоплечий, с крючковатым острым носом, словно утратил роль энергичного, знающего наперед ведущего, уплывал, уплывал в сумеречную глубину угла. Терпение Андриана Изотовича достигло предела. Он порывался крикнуть, чтобы директор не отсиживался отмалчивающимся исусиком, а объявлял поскорее окончательное решение – ведь оно наверняка уже обдумано, иначе, зачем собирать весь руководящий совхозный табор – или, на худой конец, хотя бы врубил свет, но выжидал чего-то, точно боялся напомнить о своем присутствии.

Понимая, что, как бы его коллеги-управляющие и бригады других отделений, которым отведена роль перспективных и развивающихся, ни противились дальнейшей приемке скота с ферм деревенек, умирающих подобно Маевке, принять план компании и утвержденную разнарядку их вынудят, он практически смирился с уготованной Маевке участью, оказавшись распаханной под ровное поле. «Скот сдадим, и забот поубудвится, останется одна посевная», – думал он будто бы легко и необременительно, как с ним случалось нечасто, но все же случалось. Это было состояние, похожее на неспешный и, должно быть, приятный самой себе бег воды в тихой речушке. Течет на радость собственным устремлениям и течет, наполняя его душу непривычной невесомостью, поднимающей над скучным собранием и директором. Жизнь вокруг продолжается, совхозное начальство на месте, привычно спорят, прочищают друг другу не то марксистские мозги, не то социалистическую недоделанную действительность, оставаясь законченными эгоистами и себялюбцами, а его с ними нет. Он высоко, улетел на седьмое, или какое она там еще праздное небо, и уже никогда не вернется...

Хватит, здесь нечего делать, и нет прежнего интереса. Дальнейшее – без него, на такое он не подписывался...

К собственному несчастью и неожиданной беде люди относятся по-разному, что Андриан Изотович испытал на себе не однажды. Что-то из неприятностей они принимают достойно, не моргнув глазом и не дрогнув мускулом, но что-то наполняет опустошительно жгучей неуверенностью, ломает достойное прочное, недавно казавшееся нестигаемым. И тогда начинается невообразимое, как не однажды случалось с ним и что происходит кое с кем в Маевке, где люди теперь предоставлены только собственной крестьянской совести.

Он хорошо знал, что творится в каждой избе, кто из его «домочадев» чем волнуется и чем живет. Знал в досаждающих подробностях, но вмешиваться в частную жизнь отдельных семей считал ненужным и вредным... Разве чуть-чуть и самую малость, когда в хаосе быта преступаются допустимо разумные пределы... Тогда он шел, выяснял, разводил и наказывал, не прибегая к помощи милиции, прочих вразумляющих органов – он умел управлять местной стихией, но был бессилен перед общественно нравственными догмами подобных собраний и сборищ.

К уезжающим Андриан относился по-разному: одних было откровенно жаль – деревню покидали хорошие, добросовестные помощники, с мужицкой порядочностью и безотказностью, способные жить достойно и уважительно к окружающему, ставя родную деревеньку в центр святости мироздания – другие вызывали неприкрытое презрение: пустомелями жили, ни себе ни людям, что о них сожалеть.

За тех, кто оставался, без исключения, как за себя, он испытывал нарастающую тщеславную гордость, похожую на самолюбование – вот, мол, какие мы есть, глядите и завидуйте. Сохранились и еще кое-что, если глазенки раскроете, сохранили на будущее. Хоть мужики, хоть бабы упрямые.

Массе живого жизнь – тяжелые испытания, о чем не принято говорить, только избранным удастся пройти ее достойно. Исключительно избранным, но далеко не по заслугам и чести. Одни в бедности, в нищете не теряют человечности и духовного содержания, другие в достатке и в почестях не заслуживают доброго слова, ничтожество хоть и всплывает, но сохраняется ничтожеством. Сметливый и практичный ум Андриана Грызлова не мог не подсказывать, что уготовано упрямам, не желающим покидать Маевку, не понимающих предлагаемых выгод и удивляющих начальство, не желающее вникать в патриархальные тонкости человеческой сути. В отношении себя далеко идущих планов не строил, сомнениями не страдал, как не сомневался в Таисии, но, подумав о ней, уже не мог освободиться от холодной нарастающей тяжести и непонятной неловкости.

«Как же я... как о рабочей силе? – подумал он с огорчением. – А то, что матери, жены... да женщины, наконец, дак не в счет? На них в первую очередь и ляжет...»

Горечь от бессмысленности совещания усиливалась, он вздохнул и, снова подумав о собственных, с таким трудом заведенных гуртах – лучших во всем совхозе, в сердцах выдохнул:

– Дак что не о чем! Гнали бы сразу на живодерню, чем голову напрасно ломать. Навяжем кому-то сегодня, а завтра? У того же Колыханова на первом отделении ни помещений, ни кормовой базы. И что, в лучшем случае спишем как павшие с голодухи, хотя в справках укажем какую-нибудь сапатку-чесотку. Крути, не крути, Николай Федорович, а все одно лишки окажутся в «Заготскоте».

Реплика его пришлась в разгар очередной перепалки главного зоотехника с управляющим первого отделения Колыхановым, и на нее никто не обратил внимания. По крайней мере, Андриану Изотовичу так сначала показалось, но взгляд Кожилина пристыл к нему надолго, и лишь сумерки помешали понять, что в этих глазах. Хорошо ли он знал Кожилина? Ему казалось, что хорошо. Ведь вместе когда-то ходили в атаку, вместе пересчитывали живых и убитых, под одной плащ-палаткой писали домой письма, без утайки обмениваясь накоротке дорогим и заветным. Бывало, ворчали на армейское руководство, но война есть война, а сила приказа есть сила повелевающая и неоспариваемая наперекор смерти. Рассуждали о будущей мирной жизни, представляя, прилично-разумной, ни в чем не похожей на армейскую. Правда, воды с тех пор утекло больше чем достаточно, и не легкой воды, не всегда только чистой, судьба развела их, но вот неожиданно снова поставила плечом к плечу. Разумеется, Андриан Изотович рассчитывал на более близкие отношения с бывшим фронтовым товарищем и командиром, стремился к ним. Но, похоже, Кожилин, как и на прежней райисполкомовской должности, непонятно за что отстраненный, (такое ведь с быдлом не обсуждается, можно нарваться на мужицкое несогласие, тошно покажется, если речь о нормальном народе, заранее не обработанном на цель и задачу) повел себя иначе. Строго, требовательно, без всякого панибратства с кем бы то ни было, ни разу за минувшее время не заговорил о военном прошлом. И к нему в Маевку ни разу носа не показал. Тем не менее, ощущение, что во главе совхоза поставлен человек, известный ему повадками, характером, имеющий опыт руководства людьми в суровое лихолетье, приносило

большое душевное удовлетворение и доверие. Почувствовав директорскую отчужденность и более чем странное отношение к себе, самолюбивый Андриан Изотович замкнулся, редко высказывал мысли вслух, еще реже ввязывался в споры. Но сегодняшний отъезд Митрича сильно расстроил, точно с работающим механизатором покинула навсегда деревню и его шала молодость. Грусть его за часы бестолкового совещания, на котором умные взрослые добровольно уподоблялись детям, выросла в озлобленность, и его тянуло схлестнуться беспощадно и яростно с пыхтящим как самовар и много мнящим о себе зоотехником, отмалчивающимся директором. И когда терпение иссякло, когда Андриан Изотович решительно вскинулся, как вскидывался когда-то, увлекая бойцов на смертный бой, поднялся в уставленном знаменами застолье Кожилин.

И когда он еще поднимался, Андриан вдруг понял, что Николай Федорович не спускал с него глаз, следил за ним в упор.

— Давайте заканчивать, что-то у нас не подготовлено как следует, Сергей Трифонович, — ровно и спокойно вымолвил Кожилин. — Спешить с кондачка в таком деле рискованно — план по молоку с нас никто не снимал, а из графика мы давно выбились. Кстати, и Андриан Изотович к этому призывает. Я правильно говорю, Андриан Изотович, вы против насильственного разъединения ваших гуртов? — Директор смотрел на него неотрывно предупреждающе, как иногда вглядывался перед атакой, призывая к осторожности, которая лишь подразумевается и вслух говорить излишне, словно пытаясь вновь уберечь отчего-то пока непонятного.

Это было ново в поведении директора, и Андриан Изотович не нашелся с быстрым ответом. А Кожилину, по-видимому, ответ был не нужен, требовалось так вот озадачить его, сбить с толку, не дать выпульнуть свое перегревшееся, перешедшее давно из воды в пар; Кожилин продолжал привычно выверено:

— Хочу обратить внимание, мы досрочно справились с полугодовым заданием по мясу. Подчеркиваю, не просто выполнили план, а выполнили задание. Поздравляю, товарищи. — Подергал головой, потер затылок, с усилием повторил: — Да, товарищи, поздравляю от имени райкома партии.

Только теперь разгадав, как тонко и легко директор спутал его мысли, не дав высказаться с охватившей его горячностью, уже спуская помаленьку взыгравшие пары, Андриан Изотович хмуро произнес:

— Радость так радость! На совесть работнули.

— Андриан Изотович, мне был поздравительный звонок из крайкома и ты не можешь не догадываться от кого! — предупреждающе возвысил голос Кожилин, да припоздал, часть ярости, скопившейся в Грызлове, все же нашла себе выход, поздно было сдерживать.

— Что — Андриан Изотович? Ну что? — шумно выпалил он. — Очковтирательство, оно всегда — очковтирательство, только у нас учитывается под другим соусом. Есть мясо, но не будет молока, и осенью я предупреждал. А когда моих коровенок туда же, к тонно-центнерам общей мясopоставки, о чем днем и ночью мечтает, как подозреваю, наш великий мясной стратег Сергей Андреевич, еще столь наберем, прям на орден за выдающиеся заслуги. Годовой одним разом, если о следующем не думать. А в следующем? А в том, который за будущим свалится? А через три-пять? Народу-то вовсе не станет... Эх, мужики, мужики, где ваши глаза! О людях мы думаем! Надумали! Улицу новую заложили на центральной, водичку пообещали по трубе качать, а кормить чем станем? Нам кормить, нам. А они своих коровенок тоже. Об этом подумали? — И точно налетев на невидимое препятствие, спросил Кожилина: — Мужички огороды будем готовить к весне или нет? Спрашивают, а я не знаю, как отвечать.

Давно усвоив, что план и прочее, составляющее производственную основу деревни, есть существующий стержень централизованного хозяйствования с единым центром далеко не в райцентре, где она должна быть естеству, в целом принимая ее, понимая и неизбеж-

ность и выгоды, он никак не мог привыкнуть, что противоестественное ярмо на шее быка. Однажды надетое, оно будет шоркать, тереть грубую холку, набивая вечную плешь и такой толщины наросты, которые скоро делают рабочую бычью шею обычной мозолью, совершенно бесчувственной ко всему остальному, как и к тому, что она на себе тащит. План как предпосылка, хозяйский расчет и стимул, нечто воодушевляющее и не лишенное смысла – это он понимал. Но план как палка, подкожный страх и двусмысленная неизбежность наказания за его срыв рождал в нем тихое негодование. Потому что наличие постоянной двусмысленности, когда заодно и то же упущение, недогляд, срыв кампании следовали совершенно разные оргвыводы и наказания, зависящие не от объективности сути, а от разных мелких и вовсе вторичных твоих личных отношений с райкомом, райисполкомом, краевыми властями. Похоже, и звонок уже был Кожилину из Барнаула – укрупнение сел становилось для района долгосрочной плановой кампанией, за которой стоял бывший первый секретарь, занявший кресло повыше.

– Какие могут быть огороды, Андриан Изотович, мы же советовались с тобой! – привскочил с укором агроном.

– Я не с тобой, мне твои советы как мертвому припарка, я и деревня живые пока, – отмахнулся резко Андриан Изотович, не отпуская взглядом директора. – Мне ваше слово важнее, товарищ директор. Мне нужна твердость линии в отношении моих мужиков, мне с ними разговаривать открыто, без увиливаний на циркуляры. Как перед последним... Помнишь, Николай Федорович? Не забыл или напомнить? – Не собираясь задевать военное прошлое, в котором директор совхоза был его непосредственным и не только удачливым боевым командиром, и что вспухло протестом в разгоряченной башке, наполненной сумятицей, заставив Грызлова дернуться, будто его ужалили: – Сейчас у меня получается, Николай Федорович, уж извини за сравнения, как недавно на фронте, когда знаешь, что один на один и поддержки не будет. Крутись, как хочешь, Грызлов! Не с утра, так с обеда уже ждут в конторе, табаком забивая соображаловку и памороки... Ну, в огородах отказ и отделению крышка, берите все на себя, вплоть до предстоящего сева.

– Любопытно, как же ты будешь разговаривать с ними? – спросил вдруг Кожилин.

– Интересно если, скажу. А то лучше вместе поехали, своими ушами услышите мужицкую критику. Не напугаетесь встречи с народом, Николай Федорович?

– Да уж скажи, сделай одолжение, чего тут пугаться? Возникнет нужда, могу приехать, – насмешливо предложил Кожилин, снова сбивая его с толку непонятным поведением.

– Угломониться на данном этапе, – сказал сурово Андриан Изотович. – Побаловали тем прогрессом, давайте весной займемся серьезно. Март вон закончился, апрель за ворот залазит, что меня вчера дед Егорша примчался напомнить... Да, да! На первом плане у меня личные огороды видятся, хочу заявить заранее расплодившимся недоумкам. А в Маевке, кроме четырех-пяти мужиков, навоз перестали на них вывозить, лапки задрали. Дак это говорит вам о чем-нибудь или не говорит? А если еще зимовать придется? – Прижав руки к груди, словно собираясь просить о чем-то и умолять, или больно ему было, выдохнул: – Ну, какую выгоду вы получили, ответьте, Митрича у меня сманив... других десятков? Половина-то – куда глаза глядят, а не к вам. Не к земле они, от нее кинулись, навсегда разлучившись с деревней. А своих сколь, ваших собственных сколь уплыло под общую неразбериху, считали когда, Николай Федорыч? За Чернуху я вам... – Заорал, бледнея: – Не троньте Чернуху! Трижды за март вызывали. Во сколь! – Загибая лишние пальцы, оттопырил три, помахал сцепившимися руками: – Вишь! А с четвертого... Да где устоишь, плюнешь, с вами лишь бы не связываться, ведь вы все равно припомните... Если уж из края поджимают.

– Товарищи, – привскочил снова главный агроном, худошавый, досиня выбритый мужик средних лет, – в обстановке подобной демагогии... Да товарищ Грызлов просто не понимает нашей главной линии! Андриан Изотович, ты же не понимаешь, это по всей

стране! Наше будущее – крупные, благоустроенные села и деревни. Ваши Маевки – всеобщий позор и убожество, оставшееся в наследство нашей партии после военной разрухи!

– А рушил кто, я с Маньками-Дуньками, обутыми в деревянные модные башмаки на босую ногу в мороз под сорок, или те, кого присылали на кадровое укрепление? И где они, крутые вояки бабьего лихолетья? А мы здесь, зачуханные да непригодные, сеем и пашем, хорошо или плохо под вашим централизованным управлением страну кормим. Убо-ожество! Круглово, ставшее захудалым отделением, вместо того, чтобы самому вознестись до центральной усадьбы – убожество? Да глаза ваши где? Память куда подевалась?

– Андриан, Андриан, спусти пар, не забывайся, – властно и жестко вмешался директор, и вовремя, неизвестно до чего мог бы договориться взбешенный управляющий, чем-то похожий сейчас на неудержимого Данилку.

– Да за такие слова, товарищи... А вы покрываете с первого дня, Николай Федорович, – продолжал возмущаться агроном.

Сглотнув ком в горле, Андриан снизил тон и перебил агронома:

– Я все понимаю и нечего меня покрывать: я – не корова на случку, а ты не бугай. Это лезущие во власть, как ты, непонятно в кого разыгрались, переселение любым способом – и делу конец! Куда? Где – это светлое будущее? Вы постройте сначала нарисованные на плакатах замечательные агрогорода со всей необходимой инфраструктурой, новой техникой обеспечьте. Или снова как в начале совхозного строительства, с землянок и пластанушек? На глазок отмерил, колышек вбил, и с комсомольским приветом, товарищи! – И закашлял, захрипел, будто налетев на невидимое препятствие, ушибся упрямой мужицкой грудью: – Ладно, отодвинем пока огороды, хотя далеко не собираюсь отодвигать, денек-другой потерпят. Коровы коровами, а сеять вы собираетесь, хозяева земли? Или, может, уменьшился план?

– Собираемся, – с прежней усмешкой произнес директор, лишь усиливая в Грызлове не остывающую злость. – И в лучшие сроки, Андриан Изотович, ты разве против?

– Я не против, против чего тут быть против, – не находя объяснения поведению директора, буркнул Грызлов.

– Ну и договорились, Андриан Изотович, – Кожилин улыбнулся, – спасибо за обещание, твоему слову я верю.

Окончательно растерявшись, Андриан Изотович нелюбезно стрельнул в него глазами и выпалил:

– Я никаких повышенных обещаний не давал, у меня добрая треть механизаторов смылась, так что...

И сникал, увядал под пронзающим взглядом Кожилина.

2

Кожилин распустил руководящий совхозный актив, так и не приняв окончательного решения о судьбе Маевских дойных гуртов. Грызлов ощущал, что меж ними осталось что-то недосказанное и, направляясь к двери, не спешил, пропуская других, ожидал, что директор окликнет, задержит. Этого не случилось, Андриан Изотович потолкался в пустой приемной, надеясь перехватить Кожилина, когда тот поедет домой, но директор выходить не спешил.

Николай Федорович Кожилин не был уроженцем деревни, знал и понимал ее до поры-времени по-своему, не выше и не ниже служебного положения. Выдвинутый сразу после войны на должность заместителя председателя райисполкома, став скоро председателем – кадров-то не хватало, война хорошо подчистила, в деревни он приезжал, как приезжает всякий руководитель его ранга. И все же люди его всегда выделяли, шли с гражданской документом, поднимали серьезные, требующие безотлагательности вопросы. Кожилин не увиливал,

чаще и чаще брал смелость безотлагательно, в меру компетенции и полномочий решать наиболее острые и срочные. А начиная решать, сталкивался с такими вопиющими противоречиями между «можно и нельзя», «положено и противозаконно», таким холодным равнодушием к самому человеку, что не мог не взрываться, не превышать установленных полномочий. Скоро на него посыпались хитросплетенные жалобы «пострадавших» и откровенные наветы. Наступил момент, когда Кожиллина охватило не просто минутное отчаяние, а настоящий страх.

И не столько за себя, за себя он перестал бояться еще на войне, сколько за дело, которым занимался, в целом, за человеческое достоинство.

В том, что его, бывшего руководителя райисполкома, убрали из активной жизни и снова вернули, бросили вдруг на отстающий глубинный совхоз, крылось не столько доверие к нему, хотя доверие, конечно же, было, сколько поспешая попытка исправить огрехи действующих руководителей разных инстанций, вскрывающиеся в связи с культом, желание убрать подальше и по-возможности уберечь от новой непоправимой беды, если еще можно было уберечь. Оказалось – можно. И он уцелел благодаря молодому секретарю райкома Василию Полухину (все же не все оказались полными идиотами испортившейся системы), с большим опозданием, но разрядившего грозу над его головой. Побывав в тяжелой переделке и многое передумав, он уже не мог относиться к жизни по-прежнему, стал осторожней в поступках, осмотрительней и всячески оберегал от неприятностей таких близких и дорогих ему людей, каким считал Андриана Грызлова. На существенные перемены в совхозе он пока не решался. Много ездил по деревням, ночевал в бригадах, людей для беседы не вызывал, сам шел к ним, сам заводил нужные разговоры, не стыдясь переспрашивать и выпрашивать, чего по-прежнему недопонимал, казалось бы, в крестьянской мудрости, не настолько мудрой или мудреной, настолько требующей обычной рассудительности, на удивление мало кому постороннему посильной.

К Андриану Грызлову приезжать было бессмысленно, Маевский управляющий — крепкий хозяйственник, в посторонних советах дилетантов при власти не нуждается, указаний ничьих не ждет, а мысли свои высказывает столь резко, что многих приводит, мягко говоря, в смущение.

Да и не хотелось ему в своем раздернутом состоянии на половину «за тех», на половину «за этих» сердитых мужицких откровений и неизбежных вопросов, которые никто, кроме Андриана Изотовича, не решится ему задавать и на которые у него нет ответов. Обывательская районная общность мелконьких интеллектуалов была заряжена и настроена на исполнение без рассуждений, заранее знающая, что отвечать ни за что не придется ни недоумкам, ни «умкам», умело изворачивающимся за дубовыми дверьми высоких кабинетов, если не подвернется какой-нибудь злостный и открытый враг трудового народа.

Не зная в совершенстве деревенскую психологию, не умея предвидеть и хоть как-то просчитать поведение сельчанина, стгоняемого с веками насиженного места, план социалистической индустриализации сельского труда Кожиллин принял сразу и безоговорочно, недоумевая, почему решительно против настроены такие зубры деревенской жизни, как Андриан Грызлов. Ведь вместе когда-то удивлялись заграничной цивилизации, изумительно дружным и самоуправляемым сельскими общинами без лишних и тяжеловесных политических надстроек, в которых не жизнь, а рай. И ни животноводческих ферм на отшибе, похожих на бараки для заключенных, утопающих в навозной жиже, ни вдрызг разбитых, непроезжих дорог, тянувшихся по всей России на сотни и тысячи верст. Конечно, и климат не тот и расстояния, что накладывает печать. Правда, Грызлов и тогда был уклончив, не договаривая всего, все же буркнул, что наши просторы никак не располагают к подобной цивилизации, нам до нее не менее тысячи лет.

И еще он ворчал, что у малых поселений должны быть пусть незначительные, но более четкие права и единые общинно-финансовые доходы, тогда и социализм будет похож на нечто живое с человеческим лицом, не подвергая сомнению. Что Россия не может быть сплошным ни агрогородом с крупными цивилизованными поселениями европейского толка, ни железобетонными остекленными мегаполисами, а должна быть засеяна невеликими поселениями с первоосновой и стержнем на обычную архаичность, сохраняющую первобытную тишь и покой древней цивилизации, упрямо создававшей и мораль, и совесть, и нравственность великой Руси, вышедшей на столбовую дорогу из лапотных деревенок.

Послевоенная деревня поднималась медленно и тяжело. Да и не везде только поднималась, некоторые колхозы уже не смогли набрать прежней мощи и были переданы отделениями в совхозы, вроде бы как находящимися на содержании государства. Партийные съезды шумели и перевозносили, одна ударная кампания сменяла другую, рождая новых героев и новых лидеров коммунистического созидания. Но люди-то вокруг, управляющие страной, краем, районом, оставались прежние. И с прежней психологией, выпестованной демагогической властью льстецов, приспособленцев и бюрократов. Сам далеко не святой, Николай Федорович Кожилин многому верил на слово или заставлял себя поверить, лишь бы дать послабление уставшему сердцу – жизнь пошла уже под уклон.

Казалось, пришли другие времена и, дождавшись, сколь-то пожив, он убедился, что главные деревенские трудности не исчезают, а углубляются, мозгами начал править соблазн прагматичности, мораль и совет уходили в прошлое, ведущая партия становилась завуалированной блескучей шелковой драпировкой обычной политической клоаки.

Не все могут быть философами и мыслителями, кто-то должен пахать, сеять и кормить орону вечных захребетников любого общества, легко меняющихся в социально-политических устремлениях, без труда и усилий, при необходимости, черное делающие белым, снова и снова увлекая измороженный народ на небывалые свершения и трудовые подвиги. Не все, как и сам Николай Кожилин, оказались готовы к такому повороту событий. Многие нуждались во времени, чтобы оглядеться, осмыслить получше прошлое и лишь тогда замахиваться на будущее, но возможности на раскачку не было: жизнь катила на полной скорости, теряя кого-то на ухабах и крутых виражах, безжалостно сминая и кроша, вознося кого-то на бурной стремнине. И уже ставила новые, невероятной сложности, никем и никогда еще не решавшиеся вопросы, от которых голова шла кругом. И снова где-то свершалось праведное, а где-то далеко не безгрешное, о чем он знал и с чем сознательно мирился, уверенный в скорых удивительных результатах, которые снова не приходили.

Но такова уж она есть, наша жизнь, на какой бы экономической почве ни закладывалась: было, есть и будет всегда белое, было, есть и будет черное, добро и зло преспокойно уживаются бок о бок, нарушая любые общепринятые законы о подобной несовместимости и неуживаемости.

Успешно развернувшаяся целинная эпопея заставила его на время забыть о личных сомнениях, увлечься всерьез, словно бы получив крылья и простор. Будто по мановению руки, пашни прибавилось почти вдвое, а значит, вдвое работы, внемля воодушевляющим лозунгам, имеющим смысл. Очень имеющим! Не щадя себя мотался по отделениям и снова вникал и опять сомневался, в меру способностей призывал и воодушевлял. Но люди на глазах становились другими. Истинные земледельцы, они теряли интерес к деревне, устав от пустых призывов, покидали ее. Увидев Маевку в списке подлежащих сносу – а было это еще при старом секретаре райкома – Кожилин решительно воспротивился. Доводам его не вняли, как не вняли доводам шумливого Андриана Изотовича. Списки оказались утвержденными, началось, что и должно было начаться, и Кожилину не оставалось ничего другого, как, хотя бы на первых порах, не торопить события.

Когда первого секретаря забрали в область, а на его место назначили нового и сам оказавшись на совхозе, он решился снова заговорить о Маевке, но Полухин оборвал вопросом не без намека:

– А где ты был, когда списки утверждались? – И спохватился: – Ну, да! Ну, да, тебя не было... Ну вот вернулся, исправляй.

Кожилин попробовал ответить ему что-то насчет людей, а не фраз, и Полухин сказал желчно:

– Вот и переводы в дело, заботься. Когда я рекомендовал тебя на совхоз, Николай Федорович, я верил, между прочим.

Но не стал досказывать, во что верил, выставил из кабинета.

Боялся досказывать? Да нет, вроде бы не боялся, не из таких. Оглядывался на того, кто теперь в крайкоме с высоты нового положения следит зорко за прославившим его районом, всеми силами не давая какое-то время померкнуть славе, поднявшей его на гребень? И это будто бы не подходило. Хотел, чтобы он сам во всем разобрался?..

Из приемной доносились тяжелые шаги Андриана Изотовича, но встречаться с ним директору сейчас не хотелось.

3

Крестьянская жизнь проста и бесхитростна, повторяющаяся по циклами, в основе которых пораньше вскочить и попозже, обессилев, свалиться в постель, успев между этим вспахать и посеять, скосить и застоговать, сжать и обмолотить, вывезти навоз на поля, вырастить живность, дающую мясо и молоко, а между этим не забыть о новом поколении себе на замену – государству ведь без населения никак! День за днем, год за годом, по кругу, по кругу в одной колее, ни вправо, ни влево, летит быстротечное время, через которое вроде бы нельзя перешагнуть и как-то заспать, но и на поводу не подходит...

Целинное вдохновение, умевшее пыхать факелами восторгов, подобно временам строительства Магнитки и Днепрогэса, Беломорканала и Комсомольска-на-Амуре, Братской ГЭС и БАМа, оставившее след великого русского трудолюбия с кайлом и лопатой, загнанное за проволоку лагерной системы насилия, внесло существенные изменения. Но весны сменялись одна за другой как прежде, начиная очередной отсчет и новое начало крестьянской неизбежности живого и необходимого, не менялась лишь обычная человеческая жизнь, пока радио не прохырчало надтреснуто ранним утром о болезни Хрущева, состоявшемся Пленуме партии и назначении новым Генсеком Брежнева.

Нюрка – первая информаторша Маевки – ломилась в избу Грызлова:

– Дак радио, Андриан Изотович! Хрущева ить сняли, Брежнев теперь, Леонид Ильич!

«Во, Ильич, вместо Сергеича, значит, хуже не будет!» – мелькнула какая-то несуразица, а вслух он сказал:

– Это значит, день пропал, будут одни распоряжения.

Иначе встретил важную новость главный маевский политикан Данилка Пашкин, долго смотревший молчком в потрескивающий черный раструб, и пришедший в себя с появлением Трофима.

– Дальше-то как без нево... Хоть анекдотами жили!

– Ну-к че же теперь, не ново – все смертны, – на удивление спокойно рассудил Данилка. – Хорошего мало принес, шубутился, фигу с маслом крутил ненавистному империализму с Америкой, нашим коммунизмом грозился на весь ошарашенный мир, как при Египетских фараонах, а не помянуть не по-русски, грешно. Эй, матрена иванна, – окликнул жену, – Распечатывай недозрелую флягу, грех такого не помянуть.

– Дак он живой, Данилка, поминки ить по-усопшему?

– Для себя он живой и пусть живет, я не против, а для нас, для страны, уже нет и не будет.

И скоро уже, отпустив тормоза, выдавал по первое и безоглядно, расставлял все по своим местам, что, где, когда, изрядно наторев за минувшие голы в политике и политиканстве:

– А как ты хотел, козел вислоухий, сколько терпеть целинников-кукурузников? Как Маленкова спихнул, а Молотовым с Кагановичем закусил, так и расхаживал в расписных рубахах – народоволец. Хорошо, вслед за Берией не отправил, а мог бы, под боком у Сталина многому научился. Не-ее, я не против, ЦК есть ЦК, коллективное руководство, но супротив ни звука, долговато помалкивало, решимости набиралось. Долго-оо! Но хватит, хвалю! Терпенью конец, лопнула не жила вдоль хребта, сама пуповина, другим дай порулить. А то «догнать и перегнать» с голой жопой! В коммунизм ему захотелось, кукурузнику.

Прибежала жена Трофима, попыталась снизить градус разворачивающегося бузотерства, но где разошедшийся Данилка, там усопшего раком поставят и душу вытрясут; выждав пару минуток, распорядилась вместо молчаливой Мотьки:

– А ну, нам детей надо кормить, убирайтесь в свою баню и там устраивайте ассамблеи!

Перед женой Данилка всегда – козырный туз без короны, но Фроська немного смущает, хотя крученные слова с языка как горох в решето; Фроська в новой атаке, требовательно дергая Мотьку за руку:

– И с флягой, Мотька! И с флягой, на дух нам не надо в избе!

Пробежавшие было мимо Хомутов и Камышев притормозились:

– Че там у вас, Данила?

– Идите, идите, куда идетесь! У нас тут поминки, – хлюпает носом Фроська, лишь разжигая мужицкое любопытство.

– По-нонешнему, что ли? – Рука Ивана Камышева уже на вертушке калитки.

– Нет, по-вчерашнему! – рыгочет Пашкин. – Давай, заходи, мужик, че мы вдвоем как безродные! Айда, где нихто не помешает!

– Ну вот! Ну вот! Что ты возьмешь? – пасует перед мужицким нахальством растерянная Фроська.

– Так и не связывалась бы, нашла забаву, – советует Мотька, направляясь в избу.

Из банешки шум и гам, в банешке настоящий содом, устроенный Данилкой, схватившимся с Иваном Камышевым; собрались вроде бы как на поминки, но поминками близко не пахнет, как и за здравие, какой-то крикливый ералаш без стержня.

– Так за что! За что! Сделал-то что, хоть скажите! Как же так, взяли и сняли? – опрокинув алюминиевую кружку браги, надрывался упрямо Иван.

– За што, мать-перемать?! За што, конек не занузанный? А Карибского кризиса и ракеты на Кубу – мало, едва мировую войну не развязал, когда мы от той не очухались? Да я его за одну целину, кукурузу вспоминать не стоит.

– А Братская ГЭС не в счет?

– А Новочеркасский расстрел хоть помнить кто-нибудь? – подсказывает Бубнов Трофим.

– А Берлинская стена – шутки? – подбрасывает дровишек Иван Камышев.

– Ха-ха! – хохочет Данилка. – Вспомнил, как он ляпнул, што американская свинья и советская могут вместе сосуществовать, и его Кузькину мать. Лихой был чудак!

– Так оттепель же какая-то была? – не сдается Камышев.

– Была да сплыла, в штанах еще не просохло! Помните, беглых по лесам отлавливали?

– Не так, вовсе не так! Не-ее, парень, тут у тебя большой перегиб, – пытается возразить какой-то потерянный Юрий Курдюмчик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.